

## И СНОВА О ВОЙНЕ...

Зина бочком сидела на краешке кровати; на кровати лежал отец, и она держала свою ладошку в его руке; а на дворе было лето, жаркое солнце дразнило лучами, и ей нестерпимо хотелось на улицу, хотелось на Тобол, хотелось играть... за окном тарахтел трактор – Саша, старший брат, недавно окончил курсы механизаторов и теперь работал в палисаднике на тракторе; мать пекла хлеб, и в комнату в открытую дверь плыл от печи сытный хлебный запах; думая, что отец уснул, Зина тихонько высвободила ладошку, но отец вздрогнул, открыл глаза и сказал: «Посиди со мной, доченька... посиди, не уходи... – Он замолчал и вдруг сказал: – Никого мне так не жалко, как тебя... парни что – понравится – женятся, не понравится – разойдутся... а вот кто тебе попадет, как ты будешь жить...» Уже год, как Григорий Николаевич вернулся в родной Кустанай; его не хотели отпускать, но он самовольно снялся с партийного учета, сказал жене собираться – и уехал; почти два года провел он с семьей на чужбине, в Воронежских краях, где по заданию партии агитировал народ за советскую власть, выселял, уничтожал и истреблял кулаков, бандитов и врагов советской власти; и однажды ему устроили засаду, когда он ночью ехал с совещания; надежный человек уже на полдороге догнал и предупредил о засаде, а сам поскакал за подмогой; Григорий Николаевич вместе с еще одним партийцем отпустили возчика и спрятались в поле в стогу; стог за стогом ворошили и протыкали вилами бандиты, искали Григория Николаевича и его товарища; уже и помощь была близко, когда вилами проткнули ему спину; он долго лежал в больнице, перенес операции, то выздоравливал, то снова болел, и в один день он ясно почувствовал – недолго осталось ему жить, и умереть он хотел дома, на родной земле... В Кустанае его встретили с почетом; дали просторный дом с палисадником возле Чураковского сада, дали молочную корову – поправить здоровье; земляки не забыли его за эти годы; люди тянулись и тянулись к его дому; шел тридцать шестой год, в мире было тревожно, и все задавали Григорию Николаевичу главный вопрос – а будет ли война... «Будет, – отвечал Григорий Николаевич и всегда добавлял: – но мы победим». Потом он слег; весть, что Григорию Николаевичу стало резко плохо, разнеслась по всей Затоболовке; люди приходили, справлялись о его здоровье, а Зина подолгу сидела на краешке его кровати; он не отпускал ее, держал ее руку в своей; вдруг он прислушался к тарахтенью трактора, приподнялся... «Да что же он делает, под-



лец, – сказал он, – у него же подшипники плаваются...» Потом тихо сказал Зине: «Закрой дверь, потихоньку, чтобы мать не видела... открой окно и помоги мне...» Он вылез в открытое окно и крикнул Сашке: «Ты что же, подлец, не слышишь, что у тебя подшипники плаваются! Тащи камень...» – и двинул ему по шее. Сашка слез с трактора и растерянными глазами смотрел на отца, но камень притащил... После этого Григорий Николаевич уже больше не вставал. Он лежал на кровати, в белой рубашке, на подушке в белой наволочке, и ни кровинки не было в его бледном лице; только черные густые кудри, черные усы, в редких серебряных нитях – ему было всего тридцать шесть лет, – чернелись на белой подушке; он не видел и не слышал ничего вокруг; так же приходили люди, справлялись о его здоровье и тихо уходили; вдруг твердые, решительные и знакомые шаги раздались за дверью, и в комнату вошел Щebetун, друг, однопартиец, соратник Григория Николаевича, – это с ним они прятались в ту ночь в стогу; и Григорий Николаевич шевельнулся, приоткрыл глаза, увидел Щebetуна и сказал: «Ну, сват... – почему сват – так никто и не мог понять, – ну, сват... – снова сказал он и замолчал; и вдруг сказал: – Эх, выпить сейчас цилиндрический стакан водки – и можно умереть...» Щebetун молча развернулся... Вернулся он с бутылкой водки, со стаканом в руке; налил в стакан водки, молча подал Григорию Николаевичу; Григорий Николаевич приподнялся, твердой рукой взял стакан и выпил... голова его упала на подушку, а по щеке покатила слеза... Всю жизнь Зина упрекала себя, почему она не остановила отца, почему помогла ему вылезть в окно, почему не позвала мать... ей было тогда всего одиннадцать лет. Знал бы Григорий Николаевич, что его дочь, его Зина уйдет на войну, на ту войну, о которой он так твердо говорил, что мы победим...

Зину срочно вызвали в хозчасть, получить новое обмундирование; было за-тишь, и Зина выбралась из землянки, на секунду подняла голову к небу, успев удивиться чистой и спокойной небесной голубизне, секунду прислушалась по привычке и побежала по твердому, притоптанному снегу; она бежала в кирзовых сапогах – эти кирзовые сапоги столько помучили ее за почти два года, что она на фронте, особенно первые, которые ей выдали в феврале сорок второго года: сапоги были на два или три размера больше, натирали мозоли, и Зина наматывала на каждую ногу портянку за портянкой, наматывала обмотки, а сапоги все равно болтались на ее маленькой ноге, и мозоли натирались... Тогда же ей выдали и шапку-ушанку, тоже большую, и шапка эта постоянно падала на глаза, и тоже измучила Зину; вдобавок и шинель попала большая... И вот теперь в хозчасти Зине выдали новенький полушубок из белой овчины, новые сапоги, сшитые по ее ноге здесь же, в хозчасти, – специально сапожник снимал мерку. Зина держала в руках полушубок, новые сапоги и не знала, за что за первое взяться, и начала с полушубка – быстро скинула старую шинель, надела полушубок, ловко всунула в тугие петли большие пуговицы, провела ладонями сверху донизу, словно ощупывая всю себя, как сидит на ней полушубок, подняла воротник, спрятала в его уютный мягкий ворс вдруг порозовевшее от удовольствия лицо, потом опустила воротник, потом увидела, что рукава длинные, и загнула их, и получились такие нарядные манжеты, а в сильный мороз можно будет снова отогнуть и греть руки в длинном рукаве... Полушубок был теплый, полушубок как влитой сидел на Зине, но самое главное было то, что полушубок был красивый и очень шел ей –

это Зина и без всякого зеркала очень хорошо знала; потом Зина скинула старые кирзовые сапоги, перемотала заново портянки и надела новые, тоже кирзовые, но аккуратненькие, по ноге, да еще с хромовыми голенищами, топнула раза два – и окончательно почувствовала, что и на войне бывают моменты, когда человек полностью счастлив и полностью доволен. Зина бежала обратно в свою землянку, а сама внутренним взором видела себя со стороны – бежит молодая, стройная, очень, очень красивая девушка, в нарядном белом полушубке, в новых сапожках с хромовыми голенищами; она бежала и представляла себе – вот ахнут сейчас ее казанцы, когда увидят ее в этом полушубке, в этих сапожках... Зина старший сержант, зенитчица, у нее в подчинении одиннадцать курсантов, которых недавно прислали из Казани, и эти одиннадцать курсантов немного отравляют ей жизнь – все-таки какие они вредные, как им не нравится, что ими командует девчонка; да, приказы Зины они выполняют, но ворчат за спиной, ехидничают, все время стараются подловить Зину на чем-нибудь, подколоть; Зина даже своему командиру, капитану Бакунину, пожаловалась на них; капитан выдал ей пистолет с кобурой, но строго предупредил: «Ты смотри, еще стрелять не вздумай! Попугай, и все...» Зине так тепло – нет, так радостно в новом полушубке, в новых уютных и удобных сапогах, и пусть война кругом, а именно сейчас жизнь ощущается так страстно, так сильно, так пронзительно, до боли в душе ощущается жизнь – может быть, потому, что кругом война... кругом война, а ты живешь, и ты будешь жить, ты обязательно будешь жить; и душа у Зины пела – Зина с детства была певуньей; сколько раз ходила она на передовую; шли они строем – пять рядов по четыре человека, через двадцать метров – снова пять рядов по четыре человека, и снова промежуток двадцать метров, и снова пять рядов... а далеко позади тащится замаскированный обоз, нагруженный вещмешками, котелками, сухим пайком, фронтowym добром... «Зинок, запевай!» – отдаст приказ капитан Бакунин – запевай! всегда была Зина, никто не пел лучше нее... и Зина точно знает, в какую именно минуту Бакунин отдаст приказ; она не выбирает заранее песню, песня сама выбирает ее... и то ли от ее голоса – чистого, звонкого, молодого и задорного голоса, то ли оттого, что среди них девушка, но к каждому бойцу словно по воздуху пролетает искорка, и вот уже все они на одном дыхании подхватывают песню, и десятки тяжелых кирзовых сапог дружно отбивают такт... До землянки оставалось совсем немного; и вдруг Зина даже не услышала, опытным чутьем угадала – немцы начали обстрел, и тут же вывороченные комья черной земли – взрыв раздался где-то рядом – вперемешку со снегом полетели на нее и под ноги; Зина пригнулась чуть не наполовину, она бежала по этим свежим комьям, не чуя под собой ног, к спасительной землянке, она слышит, как ей уже кричат оттуда ее казанцы: «Быстрее! Быстрее, Зина! Быстрее беги!» Зина пулей влетела в землянку, она еще ничего не успела почувствовать сгоряча – и вдруг увидела, что левый рукав ее новенького, только что полученного белого полушубка весь изрешечен осколками... и целую секунду Зина была как в столбняке – внимательно смотрела на этот, превратившийся в клочья рукав удивленными глазами и не осознавала, что она ранена, пока кровь не начала просачиваться и пятнами расплзаться по белой овчине; и Зина охнула, схватилась за разорванный рукав, чтобы удержать вдруг отяжелевшую руку; и первая ясная мысль, которая наконец появилась и обожгла Зину, была о полушубке – жалко новый полушубок!

Первый раз Зина была ранена, а ведь на фронте она уже почти два года; сколько

раненых перевидала она за эти два года, окровавленных, наспех перевязанных, бредущих в одном направлении, кто опирается на ружье, кто на палку, а в глазах – бессмысленное, растерянное выражение; и это еще те, кто ранен не тяжело, кто может двигаться, может сам добраться до полевого прифронтового госпиталя, тщательно замаскированного, только маленький столбик торчит из земли, а на нем буквы – ППГ... а сколько тяжело раненных перевидала она, и каждый раз впереди страха была невольная, неистребимая уверенность – опять это не с ней потому что с ней такого не случится... И вот теперь случилось; ранение не было тяжелым, и боль была терпимой, и сознание она ни разу не потеряла, и по дороге в госпиталь у нее было какое-то взбудораженное, взвинченное и, что удивляло ее, чуть ли не радостное состояние; это оттого, – объясняла она себе, – что она легко отделалась, не убило, не оторвало ни руку, ни ногу... а осколки что – вытащат, смажут и перебинтуют... Но стоило ей увидеть врачей... каждый больной инстинктивно заглядывает в лицо того врача, который будет лечить его, надеясь увидеть в этом лице сострадание к себе, к своим страданиям, именно к своим, а не вообще ко всем... Зина помнила все до мельчайших подробностей – как ее посадили на стул, раненую руку положили на постеленную на столе клеенку, и тут же жгучая, нестерпимая боль – раны чем-то помазали; краем глаза она видела – врач своей бескровной, уверенной рукой взял пинцет – и Зина напряглась, чтобы унять охватившую ее дрожь; всю спину ей как будто холодом обдало, и она невольно задрожала; уж лучше смотреть в лицо врачу, только бы не видеть эту руку, не видеть пинцет, не видеть ничего – и не могла... только бы быстрее все кончилось, – теперь эта мысль была у нее в голове, – только бы быстрее... она уже и отвернулась, и в то же время ловила себя на том, что ей так и хочется снова повернуть голову и подсмотреть, что будет делать врач... она знала, что обезболивающее берегут для тяжелораненых, для командного состава... осколок за осколком вытаскивал врач своим пинцетом и шарился и шарился этим пинцетом в ранах так, как будто ему и в голову не приходила мысль, что Зине может быть больно; а Зина уже чуть не теряла сознание... она искусала себе губы, чтобы только не кричать... и вдруг она поймала себя на том, что без конца твердит одно и то же слово: «Господи... Господи... – дрожало у нее внутри, с каждой новой адской болью от пинцета, – Господи... Господи! Господи!» И эти слова о Боге вдруг напомнили ей про тетю Дуню, папину сестру; у Зины было шесть родных теток – четыре со стороны матери и две – со стороны отца, но одна только тетя Дуня прибежала, узнав, что Зина уходит на войну; тетя Дуня переписала для Зины специальную молитву, которая бы хранила Зину, уберегла бы ее от вражеской пули, от смерти, то есть тетя Дуня сделала то главное и то единственное, что только могла сделать для Зины; если б она могла сделать больше – она сделала бы... Зина помнит – когда всей семьей вернулись они в Кустанай, сестры матери не признавали их – ее и ее братьев, называли анчихристами; Зина помнит – увидела ее тетка Ганя на улице и сказала ехидно, со смыслом: «Ну, анчихристы приехали...» Зина в слезах прибежала домой: «Мама, какие же мы анчихристы... почему нас так называют?» – дрожала она от обиды. «Да кто это тебе так сказал? А ты не слушай никого...» – отмахнулась Марфа Даниловна, а сама отвернулась, спрятала от Зины лицо... А сестры отца – тетя Мария и тетя Дуня – любили Зину, особенно тетя Дуня; Зина помнит себя еще маленькой – тетя Дуня была такая красивая, что ей хотелось смотреть и смотреть на нее; и как же

изменилась тетя Дуня сейчас, а ведь ей всего сорок с небольшим; всем своим обликом она стала похожа на старушку – всегда ходит в черной юбке и какой-то темной бесформенной кофте с загнутыми растянутыми рукавами, в старушечьем платке, повязанном под подбородком, но даже не это главное; заботы и тревоги, тяжелая жизнь так рано состарили, стерли красоту с ее лица; тетя Дуня вынула из кармана сложенный в несколько раз тетрадный листок с переписанной молитвой и некоторое время держала в руке этот листок, колебалась, как сказать Зине что это – молитва, и только изучающе посмотрела на нее, чтобы определить, в каком Зина настроении; «Зина, вот я тебе тут переписала... – на всякий случай строго начала она и строго поджала свои выцветшие, в мелких морщинках губы, и оглянулась еще на Марфу Даниловну за поддержкой; а Марфа Даниловна стояла потерянная – сколько она бегала за Зиной в военкомат, сколько просила – ну хоть девочку не берите на войну... и тут тетя Дуня твердо решила про себя, что ни за что не отступится от Зины, – носи при себе этот листок, Зина, спрячь подальше, и носи при себе; никогда не оставляй, всегда при тебе пусть будет; – и вдруг она разозлилась на себя из-за того, что боится произнести это святое слово – молитва, боится в такой момент, когда речь идет о жизни, и она сказала твердо: – Зина! Это я тебе молитву переписала, молитва эта тебя сохранит и спасет, Зина!» «Ну, тетя Дуня, – удивилась тогда Зина, – я ж комсомолка, у меня комсомольский билет, а вы мне – молитву...» И тетя Дуня встала на колени: «Зина, Богом тебя прошу... возьми, возьми, Зина... зашей куда-нибудь внутрь, никто не увидит; Зина! и всегда с собой носи, всегда с тобой пусть будет... не оставляй... я тебе переписала Зина, для тебя, Зина...» – тетя Дуня стояла на коленях, она так плакала, так без конца причитала, что первый раз, вместе с радостным патриотизмом, вместе с яростным желанием бить фашистов, Зина вдруг почувствовала какую-то ноющую, тревожную занозу в душе, и первый раз страшное слово – война – вдруг показалось ей отрезвляюще страшным... это слово – война – словно оголилось от всего, что они сами – Зина и ее пылающие патриотизмом подружки – насочиняли себе про войну, и Зина невольно почувствовала страх – да какие они бойцы, она и ее подружки, и как они будут защищать Родину, сумеют ли... и она идет на эту войну; а ведь войну Зина представляла себе так – немцы стреляют, мы стреляем, но не так же, чтобы целиться, чтобы в живого человека... ну не звери же немцы, люди... И Зина взяла молитву, и с тех пор эта молитва всегда хранилась у Зины с правой стороны, а с левой, возле сердца, она носила комсомольский билет; и сейчас эта молитва была с ней... Иногда, наедине сама с собой, Зина поневоле задумывалась – уж не молитва ли тети Дуни оберегает ее, ведь за полтора года – ни одной царапины...

В первые же месяцы войны в Кустанай начали привозить раненых; часть из них разместили в школе; Зина и ее подружки ходили в школу, помогали ухаживать за ранеными; они устраивали для раненых настоящие концерты – читали стихи, пели и плясали; они писали письма под диктовку, относили эти письма на почту; некоторые девочки стали приносить из дома домашнюю еду... как-то Марфа Даниловна налепилапельменей, и Зина принесла пельмени и накормила раненого; ему резко стало плохо – ему категорически нельзя было есть пельмени; девочки бросились за врачами, за медсестрами... едва спасли этого раненого; с тех пор девочкам запретили приносить еду, но они продолжали помогать на перевязках.

и вот тогда-то Зина видела у некоторых раненых спрятанные в одежде листочки с переписанными молитвами; Зина не понимала тогда, как можно было верить в эти молитвы... И вот теперь, через восемь месяцев, она уходит на войну, и у нее у самой точно так же маминой рукой защита и спрятана в одежде молитва...

Зина очнулась от своих воспоминаний; врач продолжалковыряться пинцетом в ранах, выискивать осколки... и вдруг и невыносимая физическая боль, и такая же злоба на него дошли у Зины до последнего предела – она вдруг с тяжелым животным чувством обреченности осознала, какой ей попался равнодушный, безжалостный к ее страданиям врач – ведь ни чуточки не жалеет ее; эта мысль так пронзила ее, что она размахнулась и вlepила врачу пощечину здоровой рукой; и тут же, ужаснувшись, что она это сделала, она сжалась в комок и приготовилась – сейчас и он вlepит ей ответную пощечину; вместо этого услышала охрипший голос: «Ну и ходи так! Ну и... дура!» – и врач грубо оттолкнул ее руку... Всю жизнь будет носить Зина в левой руке два осколка.

После госпиталя Зина на грузовой машине ехала в свою часть. Она сидела в кабине рядом с шофером. На ней шапка-ушанка, теплая шинель, под шинелью спрятана перевязанная рука, уже почти зажившая; машину трясет на каждом ухабе, и Зина по привычке поддерживает раненую руку здоровой рукой, поглаживает, как ребенка. За все это время Зина соскучилась по своим вредным казанцам, уже представляет, как они встретят ее; казанцы хоть и вредные, но уважают Зину, хоть и ворчат за ее спиной – девчонка командует! – но приказания Зины выполняют безоговорочно, да и попробовали бы не выполнить – думает Зина; Зина соскучилась по капитану Бакунину; он ей как отец; сколько раз было – чуть только затишье, и Зина упадет в землянке на свой соломенный матрац за натянутой занавеской, и уснет как убитая; а проснется – на ней накинута чуть не гора и шинелей, и полушубков; это капитан Бакунин; это он прикрывал ее шинелями, чтобы она не мерзла во сне, и приговаривал: «Поспи, поспи, пока тихо... поспи. Эх, дивчина...» – и тяжело так вздыхал... Зина ехала и вспоминала всю эту фронтовую жизнь; она пригелась, уютно тряслась в машине и по привычке поддерживала, оберегала руку; о чем бы она ни думала – в мыслях была только война, война... никакой мирной жизни не могла представить себе Зина, ей казалось, что даже там, в далеком Кустанае, где остались мать с братишкой и совсем еще маленькой сестренкой, тоже взрывы, тоже бомбежки, тоже стрельба... Зина знает, что нет в Кустанае никакой войны, но представить себе мирную жизнь – просто невозможно... Два ее старших брата – на фронте; Юра, который младше ее на два года, несколько раз убегал на войну, и его каждый раз возвращали; потом Зина узнала из письма матери – этот настырный Юра все равно пристроился к воинской части и в каких-то дремучих лесах охраняет женские лагеря... Впереди показался пропускной пункт; несколько машин стояли перед шлагбаумом; солдат с автоматом по очереди пропускал их; шофер заглушил мотор, вышел из кабины. Зина смотрит на солдатика с автоматом возле шлагбаума, смотрит, как поднимается и опускается шлагбаум, как тарахтят и трогаются с места грузовики, как проезжают под шлагбаумом... после госпиталя всё это десятки раз виденное-перевиденное кажется ей новым, и таким, и не таким... она видит своего шофера – вот он подошел к капитану, вот подает ему документы; капитан стоит лицом к Зине, и лицо у него хмурое, злое; он поднял голову – и Зина по

его взгляду поняла, что он увидел ее; какое-то противное чувство шевельнулось в ее душе, когда глаза капитана на секунду остановились на ней; капитан тут же отвернулся, дернул головой в сторону машины и что-то стал говорить шоферу. «Иди, тебя капитан зовет, – сказал шофер, вернувшись к машине, – подойди к нему...» «Зачем?» – отрезала Зина. «Приказал, чтобы ты подошла...» – «Не буду я подходить! Нет у меня к нему никаких дел, и у него тоже ко мне нет! Я еду из госпиталя, у меня предписание, я еду в свою часть, и нет у меня никакого начальства, кроме моего! Не может он мне приказывать!» Зина напряженно смотрит через стекло – вот шофер снова подошел к капитану, вот говорит ему – и вдруг и без того недовольное лицо капитана как-то неестественно перекосилось, и он схватился за кобуру... И тут Зина не выдержала, до того все в ней клокотало и кипело возмущением – она вышла из кабины, с размаху хлопнула дверцей и сказала громко, четко, разделяя каждое слово, сказала с угрозой: «А, ты за кобуру хвататься! Ты что, под трибунал хочешь! Я предупреждаю – я доложу, куда следует! Все потеряешь!»

А приехав на место, Зина узнала, что ее части уже здесь нет, что ее часть отошла отсюда, отошла недалеко, всего-то километров десять-двенадцать. Всю дорогу у Зины было радостное состояние только потому, что она ехала к своим... И Зина страшно расстроилась – она так хотела домой, к вредным казанцам, к капитану Бакунину, она так соскучилась по всем по ним; почему-то именно сейчас, после госпиталя, она особенно остро чувствует, как она сжилась со своими вредными казанцами, какие они ей, оказывается, родные; а теперь у нее было чувство, что ее оторвали от ее семьи... а потом, они ведь тоже ждут ее, не может быть, чтобы они тоже не ждали, не скучали по ней. «Что это – двенадцать километров, – думает она, – дойду по рельсам...» Но Зину никуда не пустили; в санчасти еще и померили ей температуру – оказалось, и температура у нее повышена; а Зина все рвалась уйти. «Да дойду я по рельсам, – говорила она, – что тут – десять километров...» «Ну да, дойдешь... и кто это тебя пустит, с температурой... отлежись до завтра». – «Ну да, буду я лежать! Нет у меня никакой температуры! Мне в свою часть нужно! Что тут идти-то; пойду по рельсам...» «Завтра утром машина поедет к вам в часть, вот на ней ты и поедешь!» – приказали Зине.

И все-таки Зина ушла; улучила момент – и ушла, она уверена была, что быстро доберется до своей части... Кто уж первый хватился, что Зины нет... стали искать ее – нет нигде; всех подняли на ноги, в голове ни у кого не укладывалось, что Зина могла пойти пешком, когда утром ее должна была отвезти машина; да еще с температурой; уже и машину сгоняли в ее часть – Зины и там не было; тогда пошли с двух сторон, навстречу друг другу, по железнодорожным путям – и в километрах в трех увидели Зину, она без сознания лежала на насыпи...

Больше месяца проболела Зина – но выжила...

А в конце сорок третьего года Зину разжаловали в младшие сержанты; и одновременно наградили орденом Славы...

Зина по звуку определяла, чей самолет летит – наш или немецкий; наш летит ровно, плавно, а немецкий – с противным нарастающим гуденьем, и снова с нарастающим гуденьем, и снова... Зина в укрытии со своими бойцами; все замаскировано, только дуло зенитки торчит; выглядывать нельзя – если заметит немецкий летчик хоть малейшее движение, малейший огонек, места живого не оставит...

Зина прислушалась – самолет по звуку точно был немецкий... «Фашистский...» – уверенно сказала Зина и приготовилась; ее бойцы тоже напряженно прислушивались. «Нет, наш...» – заспорил один. «На наш вроде похож...» – неуверенно поддержал его второй. «А я говорю – фашист летит!» – снова решительно сказала Зина и снова напряженно прислушалась – нет, самолет точно немецкий, но когда напряженно прислушиваешься... и Зина заколебалась – вдруг она ошибется, вдруг выстрелит по своему – и Зина, прекрасно зная, что нельзя, не удержалась и выглянула из укрытия, всего на секунду выглянула – самолет точно был фашистский – и Зина прицелилась – а глаз у нее меткий, – и нажала на спуск; и уже через секунду и она, и ее бойцы увидели, как целый вихрь огня взорвался и разлетелся в воздухе – снаряд угодил прямо в бензобак; за сбитый самолет Зину наградили орденом, а за то, что выглянула, – разжаловали в младшие сержанты... Капитан Бакунин кричал: «А если бы не сбילה! Да ты понимаешь, что ты наше расположение немцам бы открыла... Да нас разнесло бы тут всех к чертовой матери!»

Живет себе человек и живет; и день идет за днем, и каждый похож на другой; и даже не представляет себе, какой из этих дней врежется ему в память, какой он будет вспоминать через много, много лет... вспоминать то с грустью, то с сожалением, то с радостью, то с болью... будет вспоминать даже не событие, а просто обычный день из бесконечной череды таких же обычных дней...

Васька Журавлев был на два года старше Зины; Зина училась в четвертом классе, а он в шестом; и он постоянно сбегал с последних уроков, чтобы подкараулить Зину – у Зины уроки кончались раньше, – и толкнуть ее, дернуть за косичку. Зина жаловалась учительнице, а учительница говорила: «Он хороший мальчик, ты ему нравишься, ну и дружи с ним...» А когда Зина училась в пятом классе, она в кармане своего зимнего пальто нашла записку; в записке были какие-то непонятные стихи. «Молодая, с чувственным оскалом, – читала Зина старательно выведенные ровные, красивые строчки – Зина знала, что это Васькина работа, – Я с тобой не нежен и не груб... – Зина нетерпеливо пропустила несколько строчек. – Многим ты садишься на колени, а теперь сидишь вот у меня...» Прочитав эти слова, Зина заплакала от обиды и понесла записку учительнице; учительница сказала: «Это стихи Есенина, это хорошие стихи; ничего плохого тут нет... он просто переписал тебе стихи, и все». А когда Зина бежала домой, с заплаканным лицом, с запиской в кармане, чтобы дома бросить эту записку в горящую печку, она вдруг на горке увидела Ваську; в руках он держал ледянку и смотрел на нее; он ждал ее; только хотела Зина лихо съехать с горки, стоя на двух ногах, и тут Васька швырнул ей под ноги ледянку; Зина кубарем покатилась с горы; она еще видела мелькавшее перед собой расстроенное, виноватое, побледневшее лицо Васьки, еще до конца горы-то не докатилась, но уже, обдирая об лед руки, вскочила на ноги и побежала домой; она бежала не оглядываясь, а спиной чувствовала, что Васька стоит и смотрит ей вслед... Дома Зина снова плакала от обиды и от боли и твердила сама себе: «Если бы любил, так бы не делал; разве, когда любят, так делают... а если бы я шею себе сломала». Потом слезы высохли, Зина забыла про Ваську, взяла свою ледянку и побежала кататься на горку; только колени берегла – болели свежие синяки после Васькиной ледянки...

Зина нет-нет да и вспоминала эти свои детские переживания, и как давно это было, казалось ей, очень, очень давно, в какой-то совершенно другой, не-

постижимой теперь, до невозможности безмятежной, бесконечно счастливой, переполненной радостью жизни; а ведь это было всего семь лет назад; и из этих семи лет – три года войны...

Второй раз Зину ранило осенью сорок четвертого года; чуть больше полугода оставалось до победы...

Зину привезли в полевой госпиталь, она была без сознания; у нее была тяжелая контузия, левая нога – колено – наспех перевязано, бинты пропитаны кровью вперемешку с водой; она лежала на носилках, и все было мокрым – и носилки, и гимнастерка, и сапог на правой ноге... а санитар рассказывал по дороге: «В рубашке родилась... два раза от смерти... уже в машину погрузили, через речку плывем на плоту; и никто и не заметил – задние дверцы у машины открылись, и носилки соскользнули в воду, тихо так... хорошо, я услышал, что вроде плеснуло сзади – оглянулся, смотрю, а она уже тонет вместе с носилками... еле выловили! Еще минута... – и все, и не нашли бы...» – Видно было, что санитар сам не оправился от потрясения; столько он перевидал смертей, но чтобы человек утонул так нелепо...

Когда Зина очнулась, она смутно увидела над собой каких-то людей, эти люди маячили перед ней неясным белым пятном, о чем-то переговаривались, и ни слова она не могла разобрать, и вдруг одно слово показалось ей знакомым, и слово это было – ампутация... до боли знакомое слово, но что оно означает, она никак не может вспомнить; она упорно хочет вспомнить, напрягает память, хотя от малейшего напряжения голова гудит, раскалывается, противная тошнота подкатывает к горлу... потом уже Зина узнала, ей хотели ампутировать ногу, потому что левое колено было безнадежно раздроблено; молодая, красивая девчонка – и без ноги! – и решено было отправить Зину в Калининград – там лучшие хирурги, там могут и пересадку коленной чашечки сделать, если Зине повезет...

В калининградском госпитале Зину поместили в палату для командного состава; она была одна в палате; первое, что поразило Зину, – это белые простыни; она не только не видела за последние три года белых простыней, она напрочь забыла об их существовании, она и представить себе не могла, что на свете все еще могут быть белые простыни; и вот теперь она лежала в палате, одна, еще и на белых простынях; пришла медсестра, принесла градусник; рядом с ней мальчик, похожий на маленького солдата – на нем гимнастерка, галифе, солдатские крохотные сапоги, – потом уже Зина узнала, что все это сшили ему здесь, в хозчасти... Медсестра поставила Зине градусник и сказала мальчику смотреть за Зиной, и он смотрит – через пять минут бежит за медсестрой и кричит на весь коридор: «Пинтиратура, пинтиратура!» Медсестра приходит и забирает градусник... Зине сделали операцию; погиб молодой солдат, и его коленную чашечку пересадили Зине. Для Коли поставили возле Зины маленькую кровать, сказали – ухаживать за Зиной, и он ухаживал – бегал куда ему вздумается, а в промежутках внимательно смотрел Зине в лицо своими большими, светлыми, наивно-детскими глазами, а когда Зине ставили градусник, бежал за медсестрой, чтобы она забрала градусник, и радостно кричал по дороге: «Пинтиратура! Пинтиратура!», или, пытаясь поправить Зине подушку – он видел, как это делали санитарки другим раненым, а если Зина попросит воды, он бегом несет ей в кружке в вытянутой маленькой

руке и расплескает по дороге половину; и такой искренней он был сиделкой, хоть и очень непоседливой и шумной... и все бегом, все бегом.

Маленького Колю выбрали после обстрела санитары; его отбросило взрывной волной – он был контужен, – а семья его, по всей вероятности, погибла; жители деревень спасались от бесконечных бомбежек, от бесконечных обстрелов в лесах, бежали с детьми, тащили с собой ревуших от ужаса коров, и счастливыми были те, кому удавалось добраться до спасительного леса; эти разрушенные, пустые мертвые деревни, с торчащими трубами, с обваленными, обгоревшими стенами домов, и ни одной кошки, ни одной собаки – сколько таких деревень прошла со своей частью Зина, одну за другой, одну за другой... только острые крысиные морды мелькали иногда среди развалин, и крысы эти своей живучестью и омерзительностью напоминали Зине фашистов. Сожрав все вокруг, крысы наводняли госпитали, шныряли по кроватям раненых, по их головам, по лицам; тяжелораненых накрывали с головой простынями – от крыс... с крысами боролись как могли; Зина сама видела – два санитаря, поймав большую крысу, облили ее чем-то и подожгли; дикий визг крысы, – огненный комок метнулся туда-сюда, и затих, и мерзкий запах паленого и жареного, мерзкий до тошноты... Запомнит Зина этот способ истреблять крыс – говорили, что крысы уходят с этого места.

Зина еще не вставала после операции; так долго и однообразно тянулись дни; у Зины было несколько фотографий, и среди них фотография маленькой Риммы, и именно Римму она любила подолгу разглядывать; не маму, не Васю Журу, а Римму... на всех фотографиях Римма получалась недовольной... Зина смотрела на маленькую девочку, с капризным лицом, в белом платье с пышными оборками, и удивлялась тому, как резко теплело у нее в груди, как вдохновлялась она к жизни... почему? Может быть, в ее душе смутно таилось чувство, что и у нее когда-нибудь будет ребенок, что и она будет держать на руках своего собственного мальчика или девочку... мальчика – решала Зина; а маленький Коля примостился рядом, уперся локотками в Зинину постель и тоже смотрел на Римму. «Моя сестренка», – сказала ему Зина. Он удивленно и недоверчиво поднял на Зину свои светлые, наивные глаза... «Анька», – сказал он и ткнул пальчиком в фотографию; Зина насторожилась – сколько бы Колю ни спрашивали, он ничего не помнил, никогда ни одного имени не назвал; и вот теперь – первое имя. «Анька? – переспросила Зина, – это – Анька?» Коля кивнул головой. «Корова... большая... – сказал он. – Вот такие... рога...» – и он приставил к голове два вытянутых указательных пальчика; Зина ничего не поняла – то ли сестренка у него была Анька, то ли корова Анька. «А где твоя мама?» – осторожно спросила Зина; Коля внимательно посмотрел на нее своими чистыми глазами, и вдруг в них мелькнул такой недетский смысл, что у Зины мурашки пробежали по спине; но Зина не могла остановиться: «Анька – это кто? Это сестренка твоя?» «Да, моя... – сказал Коля, – и корова... большая...» – и Коля вытаращил глаза и растопырил пальцы на обеих руках. Больше он ничего не сказал, никого не вспомнил... а ночью Зина проснулась – Коля плакал во сне и жалобно стонал – мама, мама... Зина приподнялась, дотянулась до его кровати, погладила его вспотевшие волосенки, осторожно вытерла ладонями слезы на мокрых щеках; он проснулся, открыл глаза, увидел Зину – и отвернулся...

После операции Зина медленно шла на поправку; как мог организм, истощенный недоеданием, истощенный плохим питанием – часто воды-то нормальной

не было, процеживали и пили и грязную, и болотистую воду, месяцами питались одним сухим пайком, да еще скудным, – как мог организм Зины выдержать еще и сложную операцию... Наверно, включались какие-то высшие силы, и Зина, как и сотни, и тысячи израненных, искалеченных солдат и бойцов, возвращалась к жизни; она была не похожа сама на себя – исхудавшая, с огромными глазами, бледная, с трясущимися руками; но молодость, какой-то крепкий, непобедимый дух, какой-то несгибаемый, железный стержень внутри возвращал Зину к жизни уже наступил сорок пятый год, уже победа веяла в воздухе, а Зина, на костылях, пыталась делать первые шаги...

Вася Журавлев свои письма к Зине писал в Кустанай; когда в феврале сорок второго года Зина тоже ушла на фронт, она не захотела, чтобы Вася узнал об этом, и он так и продолжал писать ей в Кустанай; получив Васькино письмо, мать отправляла его Зине, Зина писала ответ тоже в Кустанай, и Марфа Даниловна пересылала уже Васе Зинины письма. Конечно, потом все открылось – то ли родители ему написали, что и Зина на войне, то ли еще кто... У Зины хранится фотография Васи, которую он прислал ей с фронта, – солдат в шинели, в ушанке; черты лица мягкие, плавные; полные губы крепко сжаты; открытые глаза смотрят задумчиво и куда-то мимо, куда-то вдаль... Зина очень бережет эту фотографию; на обратной стороне надпись – Зинулечке от Василия; а в слове Зинулечка – каждая буква изукрашена невысказанными завитками, выведена старательно, каждой черточкой Вася словно хотел выразить то, чем было переполнено его сердце, – любовь... И в каждом письме Вася просил Зину выслать ему ее фотографию; и Зина сфотографировалась и выслала – она была после ранения, после месяца болезни; Вася написал – Зина, ты чью прислала мне фотографию, это же не ты; а Зина и сама с трудом узнавала себя на этой фотографии...

А потом Зине пришло письмо от кустанайской подруги; она писала – твой Вася кальерист; он женился на дочери генерала; муж у нее погиб, и Вася на ней женился; у нее еще есть две маленькие дочки; а твой Вася кальерист... И действительно, письма от Васи перестали приходить. Зина еще бережнее завернула в платок Васькину фотографию и спрятала на самое дно вещмешка, и всю свою долгую жизнь Зина хранила эту фотографию...

Подружка, Лида Разукова, написавшая Зине про Васю, была соседкой Журавлевых; она была старше Зины, но училась с ней в одном классе, потому что в детстве часто болела. Лида была бы красивой девочкой, если бы лицо ее не было все в оспинках; учеба в школе давалась Лиде с трудом, и Зине, как отличнице, поручили помогать ей; и Зина помогала – она приходила к Лиде, чтобы делать с ней уроки; а Васька только и ждал этого момента; он начинал крутиться возле Лидино дома; Зина, только увидит в окно его мелькнувшую за забором фигурку, сразу бежала и запирала дверь на крючок, а Васька уже стучится, уже просится – пустите... «Давай пустим! – заговорщицким голосом говорила Лида – про уроки она тут же забывала, а сама вся начинала сиять от какой-то непонятной радости, а глаза ее становились большими, блестящими и возбужденно-счастливыми, и добавляла просительно: – Давай пустим, ну что будет...» «Нет! – отрезала Зина. – А то я не буду приходить!»

У капитана Бакунина, командира Зины, был друг, тоже капитан, Алексей Мар- тыщенко. Их части находились недалеко друг от друга, и изредка Алексей навещал

капитана Бакунина. Бакунин был женат, у него в Москве осталась семья – жена и две дочери. А Алексей Мартыщенко, несмотря на свои тридцать лет, до сих пор ходил в холостяках; у него было красивое, открытое, волевое лицо, невысокая, крепкая, подтянутая и ладная фигура. И как-то Бакунин сказал ему: «Слушай, у меня тут дивчина одна есть, ну огонь! Хочешь, познакомлю тебя! Мало того, что огонь, а красивая какая! На нее тут, знаешь, многие зарятся, а она только зыркнет... – с выражением, с отцовской гордостью, словно Зина была его дочь произнес он слово зыркнет, и добавил от всей души: – Редкая девчонка, честное слово. Боевая такая... Хоть ты для нее и староват...» «Познакомь», – пожал плечами Алексей. И Бакунин познакомил их; «Зинаида Григорьевна», – представилась Зина; она привыкла, что ее чуть не со школьной скамьи называют по имени-отчеству. А когда Зина, вернувшись из госпиталя после ранения в руку, рассказала Бакунину про капитана на пропускном пункте – она все ему рассказывала, он сказал: «Знаешь что, Зина... давай-ка я тебя распишу с Алексеем; вот он придет, и я распишу вас... чтоб и мысли насчет тебя ни у кого не возникало...» Зина только пожала плечами... Но уже через два дня она увидела, что в их часть приехал Алексей Мартыщенко, Бакунин вызвал ее и тут же расписал ее с Алексеем – его по военному билету, а ее по красноармейской книжке; и Алексей тут же уехал обратно в свою часть; Зина и не задумывалась, ей и в голову не приходило, что она замуж вышла, просто для того, чтобы насчет нее ни у кого и мысли не возникало...

В начале весны сорок пятого года Зина с трудом, трясаясь и дрожа от страха пыталась ходить. Ее левая нога, вся в лангетке – только прооперированное колено открыто для перевязки, – не слушалась ее; Зина двумя руками спускала свою прямую, как доска, негнущуюся ногу с кровати, опиралась на костыли и вставала – и все; правой ногой она делала шаг, а левой – только слегка могла волочить ее; Зина ждала, когда ей снимут гипс – ей почему-то казалось, что только снимут гипс, и она сразу начнет ходить; но гипс, т.е. лангетку, сняли, а ходить стало еще хуже – теперь нога, не притянутая к полу тяжестью гипса, вообще не слушалась Зину; Зина пыталась двигать ею, но нога начинала противно и мелко дрожать; и все равно Зина упорно, по сантиметру, боком – прямо не получалось – волочила больную ногу, опираясь на костыли, пока пот не прошибет ее, пока не свалится от усталости на кровать.

А Алексей писал Зине письма в госпиталь; адрес он узнал у капитана Бакунина; Алексей писал о себе – что он из села недалеко от Борисоглебска, что он еще до войны окончил в Воронеже строительный институт, писал про мать – что она держит всю жизнь большое хозяйство; писал про брата – брат погиб на войне, писал про сестру, про племянников; Зина добросовестно читала эти письма и недоумевала – зачем ей его племянники, его сестра, его мать с большим хозяйством... А в конце последнего, третьего письма Алексей написал – война скоро кончится, и начнется новая жизнь, и я приеду к тебе, Зина, я приеду за тобой... «Ну, приедешь так приедешь, – задумалась Зина, – а я тут на костылях...» Она сидела на краю кровати, вытянув больную ногу, положила на постель недочитанное письмо Алексея, рядом торчали костыли – они всегда были у нее под руками... она задумалась ни о чем, просто сидела, прикрыв глаза; какой-то ком был у нее внутри, недовольство собой; жизнь ее складывается помимо ее воли, и она ничего не делает; и ничего не может сделать; на костылях, беспомощная

больная от истощения... и нет рядом мамы, нет родного человека; и вдруг ей захотелось увидеть Васю Журавлева; Зина еще после письма Лиды Разуковой спрятала подальше фотографию Васи Журавлева, но сейчас ей так захотелось увидеть его лицо; наперекор самой себе Зина полезла в вещмешок и сразу нащупала Васину фотографию и достала ее; очень медленно, очень бережно и аккуратно развернула, и с каждым движением своих рук она чувствовала, как сердце ее замирает и перестает биться, и светлеет и грустнеет в душе. Зина долго пристально смотрела на фотографию, изучала и изучала лицо Васи Журавлева, отдельно его полные губы, плавный нос, его глаза, его брови, овал его лица, она смотрела и смотрела – и представляла себе его женатым, и дочь генерала с ним, и две девочки, и все они такие счастливые – и вдруг лицо Васи, всегда такое близкое, стало казаться ей чужим; испугавшись этого чувства, Зина быстро перевернула фотографию и долго читала надпись, долго разглядывала каждый завиток в слове Зинулечка.. потом, не переворачивая фотографию, чтобы даже мельком не увидеть чужое Васино лицо, она тщательно завернула снимок в платок и снова спрятала как можно глубже в вещмешок, чтобы больше уж точно не доставать...

Зина училась в седьмом классе, и в Кустанай приехал кукольный театр; театром руководили муж и жена Чиповские; их сын, ровесник Зины, тоже, как и отец и мать, играл в театре; сама Чиповская была маленькая, толстенькая, кругленькая, с радостно блестящими глазами женщина, и совершенно лысая; она носила парик; театру нужны были на лето артисты, и Зина и еще несколько ее одноклассниц пришли на отбор; Зина первая вызвалась показать свои таланты. «Ну, что ты умеешь? Покажи нам, – ласково сказала Чиповская; Зина стояла перед Чиповской, и по глазам ее видела, что уже понравилась ей; с самого детства Зина ощущала на себе внимание взрослых – а дети очень чувствительны к вниманию, – особое внимание, не такое, как ко всем остальным детям, и это делало Зину увереннее, смелее, раскованнее; Зина инстинктивно чувствовала, что она лучше других – талантливее, красивее, и даже честнее; это говорили ей взгляды окружающих, которые она ловила на себе – взгляды добрые, восхищенные, приветливые, ласковые, и даже грустные – у каждого в душе Зина задевала какую-то струну; – стихотворение расскажешь?» «Я лучше спою, – сказала Зина, – можно?» Чиповская улыбнулась до ушей и кивнула своим париком; она чувствовала, что возьмет эту девочку, такую красивую, озорную, такую непосредственную и такую притягательную; эта девочка так отличалась от своих подружек, и даже не красотой – и другие девочки были красивыми, – она словно излучала какой-то свет, притягивала к себе своей открытостью, своим задором и непосредственностью... а Зина запела; когда она дошла до слов «эх, загудели, заиграли провода, мы такого не видали никогда...» – Чиповская уже твердо решила взять Зину в театр; но она не стала прерывать Зину, и с удовольствием дослушала песню до конца; так стала Зина играть в театре Петрушку; она носилась с поднятыми вверх руками, с тряпочным Петрушкой на пальцах, вся разгоряченная, раскрасневшаяся, вся в роли, как настоящая артистка, она так выразительно и так заразительно говорила слова Петрушки, что ей хлопали больше всех, больше, чем самим Чиповским. А потом она еще и зарплату получила; Зина держала в руках деньги, и тут подошел к ней сын Чиповских. «Хочешь мороженое? – сказал он. – Я тебе куплю». «Я и сама куплю», – сказала Зина. «А сколько ты можешь съесть мороженных?» – спросил Чиповский. «Много...» – ска-

зала Зина. «Ну сколько – много?» «Ну много...» «Ну сколько... двадцать съешь?» «Двадцать? Съем!» «А спорим, не съешь!» «А спорим, съем!» «Если съешь, я тебе зарплату свою отдам!» «Съем!» Чиповский купил двадцать мороженых, и начала Зина их есть; первые несколько штук она съела с удовольствием – уж как Зина любила мороженое! Но последние... последние она еле-еле, с трудом впихивала себе в рот, но съела. Зина пришла домой, с полным желудком мороженого, и в горле стояло мороженое, и свалилась; к вечеру у нее поднялась температура и она заболела ангиной; ангина была гнойная, и Зина болела долго, тяжело; мать ночами сидела возле ее постели и горестно шептала: «Ах, Зина, Зина... ну что ж ты такая...» Деньги, свою зарплату, Чиповский-сын принес ей домой...

О Победе Зина услышала здесь же, в калининградском госпитале; все знали, все ждали, что это вот-вот произойдет, но когда вдруг это долгожданное слово – Победа – ураганом пронеслось по всему госпиталю – Зина уже не видела, что творилось вокруг; она вскочила с кровати, ноги у нее подкосились, она упала на пол и потеряла сознание...

Вооружившись костылями, Зина гуляла по территории госпиталя; она была такая худая, что даже костыли, на которые она упиралась, казалось, весили больше, чем ее хрупкое тело; прооперированная нога давала о себе знать – без костылей Зина не могла еще ходить, но с костылями она с каждым днем передвигалась все лучше и бодрее... Была весна, и встрепенулось все в природе; исчезла тишина, исчез сонный зимний покой; неуловимый, но властный весенний гомон влетал в окно; держа в клюве тоненький прутик, деловито и смело прыгает птичка и храбро и дерзко смотрит круглым внимательным глазом – в ней нет сейчас страха, в ней только властное, непреодолимое стремление выполнить свою собственную, пусть маленькую, но ничем, никем не заменимую миссию; вдруг нежная трава появилась там, где только что ее не было; вдруг набухли и распустились первые почки – и глаз не успевает следить за жадным, радостным напором новой жизни; а над головой сияет чистое спокойное небо, над головой светит жаркое и щедрое солнце, и ты еще до конца не веришь во все это... Зина часто задумывалась о себе, что она будет делать дальше; здоровье ее было подорвано, и нужно было лечиться; но первым делом нужно было найти маму, потому что из Кустаная Марфа Даниловна уехала...

Стояло лето сорок четвертого года. Зина ехала в отпуск в Алма-Ату. Казахстан встретил ее жарой и зноем; на каждой остановке Зина выходила из вагона, и вдруг на одной из станций она увидела ослика, запряженного в тележку; тележка была доверху нагружена виноградом; виноградные гроздья, словно на картине, большие, спелые, тугие до того, что каждая виноградинка в них сплющилась, и налитые соком – Зина не могла оторвать от них глаз; в Кустанае в мирное время – и то не было винограда, а тут – целая гора... «Сколько стоит?» – спросила она у старичка, который стоял возле тележки. «Три рубля», – сказал старичок и внимательными, тревожными и добрыми глазами посмотрел на Зину – Зина была в солдатской гимнастерке, худая, бледная после болезни. «Что – три рубля? Одна гроздь... один килограмм?» – не поняла Зина. «Все... вся арба... все – три рубля... – сказал старичок, широко размахивая и помогая себе согнутыми коричневыми руками, и спросил: – Ты откуда, доченька? Куда едешь?» «Я с фронта, в отпуск

еду... после ранения... к маме еду я...» – говорила Зина, а сама глаз не могла оторвать от виноградных гроздьев. А старичок повторял за ней и значительно кивал сам себе головой за каждым своим словом: «Фронта... отпуск... ранен... – и вдруг сказал: – Доченька, доченька... погости у меня, хоть немного... я тебе виноград, я тебе кушать... вот, недалеко, – показал он рукой, – там дети, жена, много дети... все рады, рады... кушать тебе хорошо; один день, два дня – потом уедешь в Алма-Ата, провожать будем. Погости, доченька, пожалста...»

И Зина внезапно решила; она сбегала за своим вещмешком и сошла с поезда; а старичок уже достал из арбы самую большую гроздь и держал эту гроздь в поднятой руке, как фонарь, и глаза его беспокойно выискивали среди толпы Зину; и тут он увидел, что она спускается по ступенькам вагона, с солдатским вещмешком в руках; и опять у него сердце защемило от жалости за эту девушку в солдатской гимнастерке; он отдал первому же покупателю весь виноград и повел Зину к себе домой; Зина шла, отщипывала от тяжелой грозди виноградинку за виноградинкой, ее вещмешок трясся в арбе на ухабах, а она смотрела по сторонам; кругом была жизнь, такая мирная, обыденная, вялая и кипучая повседневная жизнь – копошились краснощекие, черноглазые детишки; увидев Зину, они тут же переставали играть и с откровенным интересом далеко провожали Зину глазами – военная гимнастерка как магнит притягивала их взгляд; заслоняясь от жгучего солнца, восточные женщины из-под ладони с любопытством смотрели на нее, здоровались со стариком, что-то говорили, и Зина понимала, что спрашивают про нее; куры с цыплятами, петух с круглым, как колесо, переливающимся хвостом косо посматривал по сторонам; смиренные ослики, ленивые и настороженные собаки, звуки – то неясные, то отчетливые, небо такое бездонное и чисто-голубое над головой – и теперь Зине уже не верилось, что где-то идет война; сейчас, в эту минуту, Зина не могла поверить, не могла понять войны; невозможно было вобрать в человеческий разум то, что человек же и творит... Зина поразилась, как живет старичок – у него было три или четыре жены, и у каждой в просторном, тщательно выметенном, чистом дворе была своя вроде как пристройка; детей куча; толпа высыпала, самая разношерстная, когда старичок привел Зину; все с любопытством смотрели на нее, а Зина с таким же любопытством смотрела на них на всех... Зина сразу отметила, что старичок здесь хозяин и повелитель и что все его беспрекословно слушаются; в своих владениях он как-то преобразился, даже ростом как будто стал выше, и лицо стало строгое, властное... не успел он заехать во двор, как уже и ослика подхватили, и арбу, и увели куда-то; а сам он быстро и резко на своем языке, который Зина не понимала, отдавал приказания; одна женщина, молодая, смуглая и миловидная, с румянцем на щеках и на губах, ласково улыбаясь Зине и мелко, почтительно кивая головой, показала ей, где можно умыться, сама поливала ей на руки прохладную свежую воду, дала чистое полотенце; потом Зину ввели в прохладное помещение и почти сразу же внесли кипящий самовар, а на низеньком круглом столике уже появились румяные круглые лепешки, и рука Зины сама потянулась к ним; а женщины сновали туда-сюда и несли что-то на маленьких подносах; запахло свежесваренным чаем, и Зина, можно смело сказать, поневоле почувствовала себя значительной персоной; она собиралась побыть у старичка до вечера – вечером был поезд в Алма-Ату... но уже во дворе под навесом в большом казане готовили незнакомую Зине еду – аромат стоял на весь двор; специально для Зины варили куриный бульон в казане по-

меньше, и давно забытый, напоминающий детство запах вареной курицы плыл по всему двору, и об отъезде Зина не могла и заикнуться. Зина прогостила у старичка два дня...

В Алма-Ате Зина первым делом отправилась в военкомат. Она везла акыну Джамбулу письмо от его сына, с которым Зина была на одном фронте, и ее на черной военкоматовской машине отвезли в дом к Джамбулу; и еще она получила пятьсот рублей. Зина и не предполагала, что дом Джамбула так далеко от Алма-Аты; это был большой просторный дом; в доме было очень чисто, очень аккуратно; девушки-казашки и женщины, чисто и красиво одетые, с любопытством поглядывали на Зину; ее провели в большую комнату, круглый низенький стол стоял посередине, за столом сидел сам Джамбул; Зину поразило Джамбул, его лицо – она не знала, сколько ему лет, и лицо его показалось Зине очень старым; лицо было морщинистое, подвижное и некрасивое. И снова чай, ароматный и густой, с желтым от жира молоком, с баурсаками, с конфетами, с колотыми кусочками сахара... Потом Зину посадили в новенький синий москвич и повезли куда-то в степь; отары овец паслись, лошади, жеребята, где-то коровы с телятами, тихий и резвый ветерок вдруг налетал, словно нашептывая что-то, и колыхал стебельки трав, и желтые, и голубые цветочки, и голова кружилась от воздуха, и снова бездонное, пронзительное и чистое небо над головой, и снова так не хотелось верить, так не верилось... Зине показалось, что ехали они долго, синий москвич то петлял по извилистой дороге, то с трудом взбирался на какие-то бугорки, то спускался с этих бугорков, и только густая желтая пыль клубилась с двух сторон из-под колес; у Зины уже голова закружилась, и тошнота начала подступать к горлу; ей не хотелось никуда ехать, ей хотелось выйти из душной машины, упасть в эту степь, уткнуться лицом в траву, зажмурить глаза и дышать теплым запахом земли, желтых былинки и одуряющим запахом мелких голубых цветочков; бесконечно, как в детстве, трещали и шелестели кузнечики, и Зина слышала этот стрекот в открытое окно; звонко зудела надоедливая, прилипчивая серовато-красная мошкара... совсем, совсем как в детстве...

Мама дала Зине десять рублей, сказала – купить сахару в магазине. Зина вышла за калитку, а там – мальчишки. «Ты куда?» – «За сахаром...» «И я за сахаром... – сказал один, – тебе сколько дали?» Зина показала свои десять рублей. «И у меня!» – обрадовался мальчишка, и тоже показал свои десять рублей. Толпой пошли в магазин. «А спорим, что ты не достанешь до дна в том месте!» – сказал мальчишка. «А спорим, достану!» – сказала Зина, она знала, про какое место говорит мальчишка. «А спорим – не достанешь!» – «А спорим – достану!» – «Я тебе десять рублей свои отдам, если достанешь!» – «Давай!» – «А если не достанешь, ты мне отдашь...» Повернули к Тоболу; подошли к тому месту почти возле берега, где было глубоко, и вода была тихой и темной. Зина дала подержать свои деньги одному из мальчишек, скинула сарафанчик, разбежалась... и прыгнула в воду; страха у нее не было; но и дна все не было; Зина погружалась и погружалась, изо всех сил – дна все нет, и наконец, когда она уже отчаялась, она почувствовала рукой зыбкое, скользкое дно; Зина еще успела схватить в ладошку ил со дна... Мальчишки на берегу, сбившись в растерянную, испуганную стайку, вытянув шеи, со страхом смотрели в то место, куда прыгнула Зина; все молчали; каждый боялся первым произнести страшное слово – утонула... каждый ждал – кто даст

сигнал, чтобы бежать за взрослыми, каждый был наготове бежать... и вдруг из воды показалась голова Зины, а потом и вся она; но она не плыла, а лежала на поверхности; мальчишки бросились в воду и вытащили Зину на берег; они откачивали ее, делали искусственное дыхание; одна ладошка Зины была крепко сжата... Когда Зина пришла в себя, она первым делом разжала ладошку и показала ил – доказательство, что она достала дно... ее торжественно, целой толпой повели домой; кто-то из мальчишек сбегал в магазин и купил сахару на двадцать рублей, чтобы мама не ругала Зину, и теперь тащил этот сахар на себе... Марфа Даниловна, увидев Зину, с не высохшими еще волосами, с прилипшими кусочками зеленых водорослей, увидев ее бледное, как мел, лицо, увидев торжественную и молчаливую толпу сопровождающих мальчишек, почувствовала, что сердце у нее останавливается, и она невольно схватилась за сердце... Ночью Зина крепко спала, а Марфа Даниловна не могла глаз сомкнуть, не шел к ней сон, снова и снова вставала она и подходила к кровати Зины, тревожно вглядывалась в ее безмятежное, спокойное, порозовевшее лицо, прикасалась губами к ее лбу – не заболела ли; лоб не был горячим... Успокоившись на минуту, она ложилась в свою постель, а уснуть все равно не могла, и снова вставала и склонялась над Зиной... «Зина, Зина... – шептала она, и тревога в ее сердце не только не унималась, а все росла и росла, тревога за ту жизнь, что ждет ее дочь впереди, – да что ж ты у меня такая...» «А что ж ты меня такую родила...» – будет отвечать ей Зина через много лет...

Наконец «Москвич» остановился возле отары овец; подъехал на лошади чабан, маленький, пожилой, совершенно коричневый казах, в засаленной темной одежде с замысловатой камчой в руке, большая белая собака держалась в сторонке; шофер и еще один парнишка-казак, который приехал с Зиной в москвиче, заговорили с чабаном по-казахски; потом парнишка сказал Зине – она должна сама выбрать барана, она почетный гость у Джамбула; Зина очень удивилась, не могла понять, как это – выбрать барана, и зачем выбирать, если все они совершенно одинаковые, сколько она ни смотрела – ни один баран ни чем не отличался от другого – и для этого ее возили полдня по пыли и жаре; конечно, Зина могла бы показать на любого барана из отары – но не могла, рука у нее не поднималась, жалко ей было каждую овечку... в конце концов чабан сам выбрал – уж он-то понимал толк в баранах; барану связали ноги, погрузили в багажник и поехали обратно домой.

И снова, как и у старичка в доме, варили мясо в огромном казане во дворе, и непередаваемый, вкусный запах дразнил и плыл и заставлял нетерпеливо глотать слюни; и вот уже Зину снова пригласили в ту же комнату, где стоял круглый стол посередине, и усадили на почетное место, и стали вносить подносы с горячим, жирным, вареным мясом; дрожал нежный слой жира... пар вился над блюдами, и аромат такой, что Зина сидела и провожала глазами каждое блюдо, и ей хотелось, чтобы именно это поставили перед ней... и вдруг она не поверила своим глазам – перед ней поставили блюдо с одной бараньей головой, и ничего, кроме головы, ни кусочка мяса; а Зина хотела мяса, а ей дали почему-то кости... потом Зине объяснили, что только самым – самым почетным гостям подносится голова. «Удивительно, – с юмором думала Зина, – а мясо, что же, они сами съедают?» Мясом Зину накормили, а вот что вкусного в голове – она так и не поняла тогда...

В Алма-Ате Зина купила куклу и поехала в Армавир; она знала, что мать с братишкой Геной и маленькой Риммой уехала в Армавир – в Кустанае прокор-

миться было трудно; у нее был армавирский адрес матери; но по указанному адресу Марфа Даниловна не только не жила, здесь даже никто и не слышал про нее. Зина обошла уже всю округу, расспросила всех встречных и жильцов в округе – никто не знал Марфы Даниловны; и тогда Зина пошла в военкомат; военкомат сработал оперативно – куда-то звонили, на кого-то кричали, кому-то приказывали, и уже через полчаса Зина знала, что мать только прописана в Армавире, а живет и работает она в двадцати километрах, на конном заводе, где откармливают и подготавливают лошадей для фронта; мало того, военкомат дал Зине машину с шофером, чтобы отвезти ее к матери...

А Марфа Даниловна не могла усидеть дома; усталая она была всегда; а сегодня еще и какая-то опустошенная, пришла она вечером с работы, потолкла кукурузу, которую тайком, каждый день, понемножку приносила с конного завода, сварила еду с этой кукурузной мукой; накормила Гену с Риммой, а сама куска не смогла проглотить – места себе не находила; почему-то сегодня особенно сильно тоска съедала ее изнутри; вот ныла и ныла у нее душа; Марфа Даниловна вышла на улицу, словно что-то гнало ее из дома, встала, вглядываясь вдаль; она чувствовала, что сегодня получит какую-то весть, и она с тревогой молилась Богу, чтобы весть эта не была плохой; она стояла на улице, вся сжавшись от непонятной ей самой мучительной тревоги, и упорно смотрела и смотрела в самый ее конец, а слезы сами собой катились из ее глаз; вышел Гена; на руках он держал маленькую Римму. «Мама... – жалобно позвал Гена; и этот его жалобный голос окончательно доконал Марфу Даниловну, и рыдания начали душить ее; она отвернулась, чтобы он не видел ее лица. – Мама, ну пойдем домой; мама, ну пойдем...» – уговаривал Гена, а сам плакал. Марфа Даниловна, не оборачиваясь, резко махнула ему рукой, чтобы он ушел, и Гена торопливо унес маленькую Римму. А Марфа Даниловна начала метаться вдоль улицы; на ее рыдания вышла одна соседка, другая, все столпились вокруг Марфы Даниловны, уговаривали ее, успокаивали; кто-то принес воды и пытался дать ей выпить, кто-то говорил: «Даниловна, ты что сама себя изводишь...», кто-то спрашивал, сон, что ли, ей нехороший приснился; или письмо? – так письма она не получала, – и вдруг все увидели, что далеко, в самом конце дороги, показалась какая-то машина; машина эта медленно и тревожно приближалась, все замолчали и только молча ждали, когда подъедет машина... Шофер сказал Зине: «Смотри-ка, Зинаида Григорьевна, а ведь это тебя толпа целая встречает...» Зина ничего не ответила, она даже не слышала слов шофера; она застыла от напряжения, и вглядывалась и вглядывалась в толпу – в толпе были одни женщины; машина еще не остановилась, а Зина уже держалась за приоткрытую дверцу, чтобы выскочить побыстрее, и тут она увидела мать – Марфа Даниловна во все глаза смотрела на нее, вдруг поняла, что это ее Зина приехала к ней, сердце у нее не выдержало, она повалилась на руки соседок и потеряла сознание...

Зина знала, что мать уехала из Армавира, но не знала, куда точно. В последнем письме мать писала ей, что поедет к Саше, что Саша вызвал ее, и больше писем от матери не было; нужно было как-то найти мать, как-то устраиваться жить, нужно было научиться ходить без костылей; Зина сидела в палате на кровати и перебирала свои вещи, чтобы аккуратно сложить в вещмешок; Зина очень любила порядок, чтобы все было на своем месте, чтобы все было, как положено...

но... Она развернула и снова сложила шапочку, которая три зимы выручала ее в сильные морозы – Зина надевала эту шапочку под шапку-ушанку; эту шапочку Зина сшила из обмотки, еще в феврале сорок второго года; Зине тогда выдали ее первое обмундирование, и все было не по размеру большим – и сапоги, и шапка, и шинель; обмотки были длинные, даже чересчур длинные, и еще и двойные, очень хорошие, из добротной ткани были эти обмотки; и Зина примерилась и отрезала конец одной из обмоток, обшила аккуратненько, пришила тесемочки, и получилась шапочка, самая настоящая шапочка, да такая аккуратная, и уши были плотно прикрыты, и горло... И как же кричал капитан Бакунин, когда увидел Зину в этой шапочке: «Кто разрешил тебе портить казенное имущество! – кричал он. – Да ты знаешь, что тебе за это будет! Вот напишу я на тебя рапорт!» Зина сначала испугалась, а потом махнула рукой – чувствовала она по каким-то ноткам в голосе Бакунина, что никакого рапорта он никуда не напишет... Зина взяла в руки завернутую фотографию Васи Журавлева, подержала в обеих руках, застыв на какое-то мгновение, – и не стала разворачивать; сколько раз она уже разглядывала эту фотографию, сколько раз разглядывала каждый завиток в слове Зинулечка – столько раз, что уже все притупилось в ней, и фотография вместе с шапочкой ушла в вещмешок... И в этот момент Зина отчетливо поняла, что никогда больше не увидит она Васю Журавлева; внутри нее еще что-то пыталось протестовать, но Зина уже знала – никогда... это слово – никогда – словно толкнуло ее, она резко встала – ей вдруг захотелось на солнце, на воздух, захотелось не думать больше ни о чем, ни о Васе Журавлеве, вообще ни о ком и ни о чем, и вещи она потом приберет, потом сложит – и Зина резко встала, схватила костыли, подошла к двери и сильно толкнула костылем дверь; дверь распахнулась, и Зина пошла по коридору к светлевшему впереди выходу, словно к выходу в другую жизнь; навстречу ей стремительной походкой двигался майор, подтянутый, красивый; Зина смутно удивилась – движения у майора были порывистые, взволнованные, и что-то очень знакомое... «Зина... Зиночка! – вдруг сказал майор, загораживая ей дорогу и ее собой; он близко склонил к ней свое лицо, и Зина видела его красивые, с прищуром, серо-голубые, очерченные ресницами глаза; он взял ее за плечи, словно еще крепче заслоняя ее от всего и от всех; весь он был горячий, и его руки обжигали Зинины плечи. – Зина! Я приехал за тобой...» Это был Алексей.

Алексей развил кипучую деятельность; он весь госпиталь перевернул вверх дном; он уже знал всех врачей вместе и каждого в отдельности; здоровье Зины было подорвано, и Алексей решил, что надо ехать в Москву – там профессора, там Зину проконсультируют, там же будут лечить, а заодно и его – у него осколки в легких. Зина рассуждала трезво – удивительно легко и трезво рассуждала она с некоторых пор, как бы со стороны глядя и на себя, и на свою жизнь, и вообще на все, – и она перечисляла Алексею: у них в Москве нет прописки, нет жилья; без прописки ни один врач не примет, жилье найти очень трудно, почти невозможно; а деньги, которые получили и она, и Алексей, – их только начини тратить... Алексей и слушать ничего не хотел. «У меня везде друзья, – сказал он. – Я все сделаю».

Вокзал был забит толпами народа; чего только не везли, чего только не тащили – детей, узлы, баулы, потрепанные чемоданы; все это на плечах, за плечами, в руках и на руках, перетянуто ремнями, связано обрывками всяких веревок и тесемок... Зина с Алексеем остановились в сторонке; Зина на костылях; у нее за

плечами вещмешок, изрядно похудевший – Алексей половину ее вещей переложил к себе, чтобы облегчить Зине. До отъезда еще оставалось время; шагах в десяти-пятнадцати от них играли в азартную игру – Алексей не отрываясь смотрел на пронырливого, прожженного, ловкого, скользкого, будто салом намазанного, игрока, и возраст его не поймешь, неопределенный какой-то возраст; перед этим игроком стоял маленький то ли столик, то ли накрытый ящик; он быстрыми, неуловимыми движениями – глаз не успевает следить, виртуозно, как фокусник двигал по его поверхности какие-то чашки, поднимал, показывал – то есть шарик, то нет шарика; кто-то выигрывает, кому-то он отсчитывает и отдает деньги, и ему суют деньги со всех сторон; и все время толпа возле него... Зина тоже смотрела; проигравшие отходили, почесывая затылки, с тупым выражением лица, а выигравшие покрутятся чуть-чуть в сторонке и снова подходят, и почему-то снова выигрывают. «Да это все одна шайка, – подумала Зина, – своим дают выиграть, чтоб дураков заманить... а как еще...» А Алексей глаз не сводил с играющих; ему казалось – не так уж это и трудно угадать, под которой чашкой шарик, смотреть только надо зорче, а это Алексей умеет. И Алексей не выдержал. «Я сыграю!» – сказал он Зине. «Не надо! Не связывайся, Алексей, не видишь – жулики!» «А я вот выиграю!» – и Алексей решительно подошел к столику; Зина за ним. С первого же раза Алексей угадал шарик и выиграл; ему отдали его выигрыш. Зина потянула его за рукав. «Всё, хватит!» – сказала она. – Тебе нарочно дали выиграть, чтоб заманить, а если дальше будешь играть, не только эти обратно отдашь, а еще и все свои... пошли, Алексей!» Алексей держал в руках деньги, он колебался, но Зина тянула его, и он сказал, как бы извиняясь: «Всё, больше не буду играть!» И вдруг толпа, вроде бы посторонняя, сдвинулась и окружила его с Зиной; молча, угрожающе стояли они вокруг них; они ждали. «Играй!» – негромко сказал Алексею тот, что двигал чашки, и кивнул головой на столик; он сказал таким тоном, что ясно было – играть надо... И Зина рванулась из толпы; она замахнулась костылем и закричала: «Да я вас сейчас... – Она задыхалась от ярости, вдруг поднятый костыль со стуком выпал у нее из руки – и освободившуюся руку Зина угрожающе сунула в карман шинели; будь у нее на самом деле пистолет, она, не задумываясь, перестреляла бы добрую половину жуликов, – да мы таких... – задыхалась она, – гады!» И толпа отхлынула, и Алексей с Зиной остались одни. «Твое счастье! – стараясь сдержаться и все равно кривя бескровные тонкие губы и дергаясь побледневшим лицом, сказал парень за столиком. – Баба что у тебя такая, что связываться неохота!»

В Москве Алексей действительно сразу же нашел друзей, и они с Зиной поселились в общежитии; Зина как будто плыла по течению – что будет, то и будет; она – жена Алексея, и как это произошло, и почему... Она и из Москвы написала везде письма – и в Кустанай, и в Армавир, вдруг кто-то знает, где Марфа Даниловна, вдруг кто-то ответит, а вдруг сама мама ответит – вдруг она вернулась в Кустанай или в Армавир... эти вдруг уже измучили Зину... Алексей каждый день уходит с утра по делам, по разным инстанциям, а Зина мечется... болезни ее обострились, она ест уже одну манную кашу, и то на воде, но и от нее ее тошнит, рвет желчью и чем-то зеленым; чем так жить – думает Зина, – чем мучить себя, мучить Алексея, лучше уж сразу... и она носит на шее полотенце; задушиться бы им – и разом бы все кончилось...

Алексей записал Зину на прием к профессору Титову; профессор Титов очень внимательно, очень обстоятельно осматривал, расспрашивал Зину; назначил ей анализы; он ничего не сказал, сказал только, когда прийти в следующий раз. А Зина ждала писем; никто не отвечал ей; даже из Кустаная не было ответа, а ведь она написала и Лиде Разуковой, а Лида молчала... а Зина надеялась, что вдруг Лида что-нибудь в письме сообщила бы о Васе Журавлеве, ну что он вернулся в Кустанай; пусть хоть еще раз напишет, что он женился на дочери генерала пусть и про двоих детей напишет, пусть хоть что напишет – но напишет... Писем не было.

Зина с Алексеем пришли в назначенное время на следующий прием к профессору Титову; интеллигентный, приятный, очень человечный, профессор с участием, с лаской смотрел на Зину, как будто перед ним была его дочь и этой дочери необходима помощь; он не стал говорить лишних слов; он сразу сказал: «Вот что, молодые люди... вот что я вам скажу – в Грузии есть такой город – Кутаиси, знаете вы, наверно; и в этом самом Кутаиси есть такой профессор, Глаголия его фамилия, он лечит травами; он лечит именно те болезни, которые у вас; можете мне поверить – он делает чудеса, – Титов посмотрел на Зину, – а кроме того, воздух, климат, питание – все это вам необходимо, и все это есть в Кутаиси, и здоровье у вас восстановится, и даже полностью восстановится, можете поверить мне в этом. Я очень советую вам ехать в Кутаиси, я напишу вам письмо к профессору Глаголия. Ну, а что касается вас, – Титов посмотрел на Алексея, – вам нужно срочно оперироваться; осколки в легких – вы сами знаете, что это такое и чем это грозит...» «А вы можете мне гарантировать, что я не умру под ножом?» – Алексей вскинул свою красивую голову и упрямо посмотрел Титову в лицо. «Гарантировать... – покачал головой профессор, – если бы у вас было поражено только одно легкое, можно было бы гарантировать – с одним легким живут. А у вас поражены оба...» «Ну тогда – сколько проживу, столько и проживу...» – упрямо повторил Алексей. Профессор Титов снова покачал головой: «Молодой человек, – сказал он, – не шутите с жизнью... подумайте, подумайте хорошенько... а я жду вас...»

И снова Алексей каждый день уходил по делам; иногда Зина, если чувствовала себя лучше, шла вместе с ним, чтобы развеяться, прогуляться по Москве; она жадно смотрела по сторонам, на людей, на кипящую кругом жизнь, глаз сам собой цеплялся, старался запомнить фасон промелькнувшего мимо красивого платья; жизнь всегда берет свое, всегда возьмет, пусть солдат без ног отдыхает в сторонке и вытирает грязным скомканным платком вспотевшее лицо, пусть орденами и медалями увешана грудь идущего навстречу военного – война кончилась; восстановятся города, деревни и, может быть, станут еще лучше... на месте пепелищ вырастут новые деревья, новые цветы, новые, невиданные, прекрасные деревья и цветы; и появятся новые люди; но будут ли они лучше – и даже не лучше – будут ли они хотя бы знать о той цене, которую отдали за их жизнь... и даже не это – будут ли они уважать эту цену, захотят ли... сейчас, когда закончилась война, Зине намного тяжелее было вспоминать войну, тяжелее, чем воевать... всю жизнь Зина будет отгонять от себя эти воспоминания, и всю жизнь они будут рвать ей сердце... Зина видела, какими глазами смотрят на Алексея женщины, девушки, много женщин, много девушек, и естественное, и даже чуть самодовольное чувство охватывало ее при мысли, что Алексей принадлежит ей; а где-то в глубине

таилось сомнение – как мог Алексей выбрать ее, худую, больную, на костылях, просто выбрать с одного взгляда, даже не зная хорошенько, какая она, кто она; мало ли что Бакунин ему друг и хвалил ее... У Зины был московский адрес Бакунина; он сам дал ей этот адрес и просил Зину не теряться, найти его, если она окажется в Москве; Зина не могла не навестить Бакунина – почти три года они воевали вместе, и все эти три года он относился к ней как отец; сколько он кричал на нее, а Зина чувствовала – сердце его болит за нее... это он укрывал ее шинелями, а сам шептал, думая, что она не слышит: «Поспи, поспи, пока тихо... эх, дивчина...» И вот в один день Зина отправилась по адресу; она подходила к дому, в котором жил Бакунин, и бурная радость охватывала всю ее, и она знала наверняка, что он тоже обрадуется ей... она с трепетом нажала на звонок и ждала... дверь открыла женщина, немолодая (а может, и молодая – Зине в ее двадцать с небольшим все старше тридцати казались немолодыми), в теле, с начальственным лицом (у Зины промелькнула мысль – противоположности сходятся). «Вам кого?» – как-то грубо спросила женщина, оглядывая Зину с головы до ног, и от этой ее грубости Зина начала путаться; у нее так ясно было в голове, а сейчас все спуталось; она начала говорить, что ищет капитана Бакунина, что они воевали вместе, что он сам дал ей адрес, просил навестить... «Нет его! – прервала ее женщина, снова демонстративно оглядывая ее с головы до ног. – Болеет он! Нет его в Москве!» – и захлопнула дверь. Зина даже не опешила, она была ошеломлена, она не понимала, за что жена Бакунина так обошлась с ней... Зина постояла какое-то время возле двери; уйти, не спросив, чем болеет Бакунин, и где он, и когда будет в Москве... Зина уже подняла руку, чтобы снова нажать на звонок, и уже готовые слова были у нее на языке; она скажет – передайте, что это Зина приходила, зенитчица Зина, он сразу вспомнит... и снова мысль, что подумает его жена, остановила Зину – и она не нажала на звонок; и все-таки в разные года Зина напишет несколько писем в Москву, Бакунину; ответ получит только на одно, на последнее; ответила ей жена Бакунина. «Не приставайте к чужому мужу!» – написала она, и Зина перестанет писать. И все равно Зина пыталась найти Бакунина, когда через много лет снова оказалась в Москве, и тогда она узнала, что он умер...

Алексей заходил в какие-то учреждения, пропал там, а Зина ждала; потом она спрашивала у него – ну что? – она знала, что он ищет работу и что работа для него в Москве есть, но какую он именно ищет работу – она не спрашивала; Зина знала, что спрашивать бесполезно, что Алексей никогда заранее не треплет языком, что если он наметил в своей голове цель, он будет идти к этой цели, и добьется ее, и потом уже расскажет... И Зина была спокойна, потому что Алексей – он был мужик...

А Алексей во всех инстанциях первым делом интересовался – нет ли назначения в Кутаиси, хоть какого, но в Кутаиси; и вдруг он узнал, что в восемнадцати километрах от Кутаиси намечается строительство завода, который будет выпускать «студебекеры»; Алексей еще до войны окончил в Воронеже строительный институт, и вот теперь-то и пригодился его диплом, и опыт работы – его назначили начальником строительства... Только получив все нужные бумаги и направления, Алексей сказал Зине, что они едут в Кутаиси. «Ничего не забыть, – говорил Алексей, – письмо взять у Титова к профессору Глаголия; с письмом надежнее, сегодня же и взять; сегодня же матери телеграфировать – к ней заедем дня на три-четыре, это по пути, и это надо, а то когда еще выберемся; особо нам

с тобой собираться нечего; билеты купить, да и все... А как приедем в Кутаиси, первым делом к профессору, сразу лечение чтоб начать... Зина! Ты знаешь, я не сентиментальный, я не какой-нибудь... но для тебя, Зина... – голос у Алексея вдруг дрогнул и засипел – этого он никак не ожидал от себя, и он смутился, – он крякнул с досады, кашлянул, будто в горле у него что-то застряло, тут же принял совершенно спокойный, шуточный вид, и строго сказал, но каким-то искусственным голосом, не от души: – Я для тебя все сделаю. Ты только слушайся меня, я теперь большой начальник». Алексей говорил все это, а Зина смотрела на него, а сама вдруг вспомнила маленькую-маленькую фотографию, которую Вася Журавлев торопливо, стесняясь, сунул ей в руку, когда уже садился в вагон; он ушел на войну в первый же день, а Зина – через восемь месяцев, и то через двоюродную сестру подделав себе метрику; эта фотография сильно потерялась, потому что Зина не расставалась с ней, разглядывала и разглядывала Васино лицо, и по сто раз в день читала и читала надпись на обратной стороне; надпись была мелким почерком, и тоже потерялась, но Зина помнила ее наизусть. «Ты только дождись меня, – написал Вася, – и я приеду к тебе, и ты забудешь все на свете под моими ласками».

Зину поразила ее свекровь; глядя на Алексея, никак нельзя было предположить, что у него такая мать; Зине представлялась его мать маленькой, чистенькой, беленькой, уютной старушкой; она была уверена – мать Алексея до безумия любит его, слушается его, соглашается во всем и только кивает своей седой аккуратной головой на каждое слово Алексея – да Алексей не потерпел бы другого; мать у него должна быть очень симпатичная старушка, и Зина от всей души хотела понравиться ей, она мысленно готовилась даже угодить, уластить старушку, тем более что пробудут они у нее недолго. И вдруг их встретила гром-баба; не ростом гром-баба, ростом как раз-то она не вышла, а всем своим видом гром-баба; лицо – словно вырубленное из камня, с твердым подбородком; волосы – какие-то упрямые, собранные в необъятный пучок; огромный живот под торчащим фартуком, огромный выпирающий зад; ноги – грубые, как будто никогда не выдавшие башмаков, пятки черные, потрескавшиеся; руки – как лопаты, красные, толстые пальцы растопырены; четыре года не видела она сына – потом Зина узнала, что не четыре, а гораздо больше, – а встретила так, как будто рассталась с ним месяц назад. «Ну, вот и сынок пожаловал, – сказала она, протянула свои толстые руки к его плечам, он наклонил свою красивую голову к ее лицу, и вроде бы они поцеловались, – и не один...» – и колюче посмотрела на Зину, костыли обглядела сверху донизу и отвернулась...

Хозяйство у матери было тоже огромное; война-то кончилась совсем недавно, а у нее – и куры, и гуси, и поросята хрюкают; сад большой, огород, и все это одна; дочь, сестра Алексея, с детьми жила на другой улице; и вдруг примчалась эта сестра; она тоже была невысокого роста, но какая-то ладная, крепенькая, с крутой талией и с круглыми плечами; глаза у нее были такие же, как у Алексея, – большие, серо-голубые, в густых темных ресницах, красиво очерченные, и брови такие же... Она еще от калитки взяла разбег, калитка еще не захлопнулась, а она уже кинулась Алексею на шею, как начала душить его в объятиях, а сама то смеялась, то говорила что-то, задыхаясь от радости; а Зина стояла и смотрела с опаской на такую бурную радость; и вдруг, без перерыва, она бросилась к Зине, обняла ее вместе с костылями и прижала к себе; всю жизнь Зина не любила нежностей, и

сейчас стояла, как истукан, и радовалась, что руки у нее заняты костылями и не надо ей никого обнимать в ответ... Двое детей сестры, мальчик и девочка, неловко обхватили Алексея с двух сторон и стояли, прижавшись к нему, а он рассеянно гладил их по головам – он смотрел на Зину; а племянники постояли немного возле Алексея, словно выполнив обязанность, и отошли к матери; видно было, что дядьку они или вспоминают с трудом, или вообще не знают, хотя им было лет по десять-одиннадцать.

Алексей в первый же день приезда начал помогать матери по хозяйству. Мать сказала, что не успела покрасить пол к его приезду, и Алексей покрасил в двух комнатках полы. «Пока спать будете здесь, – сказала мать и открыла дверь в какую-то комнатку, узкую, длинную, без окна. – Пока все высохнет...» «Да это, что ли, чулан... – подумала Зина, она положила свой вещмешок на кучу каких-то старых вещей в углу, костыли прислонила к стене, села на пыльный табурет и задумалась; и вдруг у нее само собой вырвалось из души – как хорошо, что мы уедем отсюда, что мы здесь недолго!» Она вышла из чулана, придерживаясь за стену и осторожно наступая – она привыкала ходить без костылей, – и сделала шаг в сторону сада; от запаха краски у нее кружилась голова, и ей так хотелось в сад, на воздух... и вдруг Зина услышала сердитый голос, и она замерла на месте. «Ще привез, ще привез, – говорил голос свекрови, – ще ты привез, а... еще и на костылях, а? А Клавдии дочка... а? – Свекровь начала говорить тише, и Зине было плохо слышно, только отдельные слова: – Не девка, а сдоба... а это ще?»

Сад, как сквозь крупное сито, был пронизан сквозь листву солнечным светом; Зина увидела упавший сухой ствол; она села на этот ствол, опустила голову... под ногами у нее была трава, полностью опутавшая землю... валялись упавшие, с червинкой яблоки... а над головой раскинулось огромное, бездонное небо... и вдруг Зина ясно ощутила, что такое одиночество; никогда еще такого щемящего, безысходного чувства одиночества не испытывала Зина; судьба словно приоткрыла ей завесу, за которой скрывается ее далекое-далекое будущее... У нее была мать, сестренка, были братья – но где они... и если бы хоть кто-нибудь из них был бы рядом, ни секунды не осталась бы она здесь... а Алексей уже искал, звал ее. «Не буду отзывать, – подумала Зина, – зачем ищет, зачем я ему... пусть там со своей матерью...» – что – там со своей матерью – она не додумала; ей и не хотелось думать; то состояние отрешенности и спокойного безразличия, которое теперь часто наплывало на нее, охватило ее; она сидела, подставляя лицо солнцу, которое пятнами проглядывало сквозь густые листья яблонь, и эти пятна ласково жгли ей лицо; она смотрела прищуренными глазами на яблоки – взять и съесть бы это валяющееся, спелое яблоко, – но не хотелось двигаться с места, не хотелось ничего... не хотелось думать про Кутаиси, даже противно ей стало при мысли о Кутаиси, а ведь еще минуту назад она так радовалась, что они с Алексеем уедут в Кутаиси... но куда, куда Зине податься? Вот встать сейчас и уйти... К маме... где ты, мама, где ты сейчас, мама...

Уже ночь, Зина давно хочет спать; мать на полу стяжет одеяло и учит Зину, показывает, как это надо делать; у Зины слипаются глаза, у нее иголка с ниткой в руках, мама тонким кусочком мыла нарисовала на одеяле узоры, и Зина стяжет по этим узорам, керосиновая лампа плохо светит, рука у Зины плохо слушается, нитка путается и путается в узелок... Марфа Даниловна посмотрела: «Зина, ну что

ж ты наделала! – дала Зине маленькие ножнички. – Ну что ж ты испортила! Пори теперь!» «Мама, – плачет Зина, – я не умею, я не могу...» «Пори, пори давай... теперь вот заново все надо». Зина порет, выдергивает пальчиками отрезанные ниточки, а слезы капают на одеяло... «Я ж тебе уже показывала, Зина; вот так же надо... вот так...» – и мать ловко делает стежок за стежком. «Я не умею... не умею я, мама... я никогда не научусь...» «Ну иди, иди... иди, спи... иди...» – ласково шепчет мать; Зина бросает ножнички, добирается до постели и, как есть, не раздеваясь падает лицом в подушку, и словно проваливается куда-то в сладком, безмятежном, крепком сне... только в детстве бывают такие сны. Утром Зина видит – одеяло, уже готовое, аккуратно сложено, связано большим платком – мама отнесет его заказчику; опять мама не спала до утра, и Зине стыдно и жалко маму...

Половина села собралась у матери Алексея; столы наставили на весь двор – и у соседей взяли, и Алексей сколотил; для послевоенного времени на столах – просто изобилие – огурцы, горячая картошка, от которой еще поднимается пар, хлеб толстыми ломтями, пироги – и соседи натащили, и сестра испекла, и куры вареные, самогон в бутылках; лавки наставлены по всей длине столов; чуть ли не праздник в селе – такой жених приехал! Майор, красавец, а хозяйственный – матери и полы уже покрасил, и все время что-нибудь да делает; правда, привез с собой не то жену, не то невесту, и всех разбирает любопытство, всем хочется увидеть эту – невесту его...

Мест всем не хватает, мальчишки позалазили на плетень, девчонки жмутся к матерям, дергают за подол – просятся на коленки. Зина сидит рядом с Алексеем, дальше – его мать; она толстая и много занимает места... все галдят, переговариваются между собой, переговариваются с Алексеем, разговоры в основном о том, у кого кто ушел на войну и кто вернулся, а кто нет; говорят спокойно, как о чем-то постороннем, а слушать страшно – вернувшихся и не перечисляет никто, только ушедших... на Зину поглядывают с открытым любопытством, все ждут; вот встает мать Алексея, живот упирается в стол, все замолкают; какая-то капризная девчонка еще что-то тоненько тянет, просит что-то... «Вот, гости дорогие, – говорит мать Алексея, поворачиваясь во все стороны, чтобы все слышали ее, – сына я дождалась... сколько похоронок пришло к нам в село... и на Ивана на моего, на старшего; а Алексея Бог миловал... вот приехал сыночек к матери... что приехал – радость матери, а ще привез с собой, – она в недоумении развела свои мясистые руки, – ще это привез... ни тут нема, – она двумя ладонями хлопнула себя по крутым грудям, – ни тут нема...» – и ладони ее хлопнули по выпирающему заду; все молча, с ехидным удовольствием смотрели на Зину, кто-то даже хихикнул и тут же заткнулся; а Зина уставилась в свою тарелку, она видела картошку на тарелке, ядреный огурец с огорода... и чувствовала, как краснеет ее лицо; Алексей не дал матери договорить; он привстал со скамейки, резко дернул ее за руку и злобно прошипел: «Замолчи! Замолчи, говорю! Если не хочешь...» – он не договорил и сел. Красное, упрямое лицо матери еще больше налилось кровью, она передернулась крутыми плечами: «А уж ждала я его, ждала... уж и не верила, что дождусь... уж слез пролила... на Ивана-то на моего, на старшего... – она двумя грубыми пальцами промокнула глаза, поморгала, потом полезла в карман и достала какую-то цветную тряпку, и крепко держала ее в кулаке, – и невесту ему приготовила... сдоба, а не девка; а это ще? Ни тут нема, ни тут нема, да еще и на костылях...» Зина

осторожно привсталась с места, взялась за костыли. «Ты куда?» – спросил Алексей; он уже снова злобно схватил мать за руку, оборвать ее, но Зина отвлекла его. «В туалет», – сказала Зина; она перебралась через скамейку и пошла в сторону сада, а сама чувствовала спиной, что Алексей смотрит ей вслед; скрывшись из вида, Зина резко повернула в сторону чулана, быстро собрала свой вещмешок, выложила из него кое-какие бумаги Алексея и задами, через огород, вышла на улицу; весь выгоревший на солнце, белобрысый босой мальчишка болтался в пыли, и больше ни души. «Мальчик, иди-ка сюда, – подозвала его Зина, – а где тут у вас контора, где сельсовет?» «Здравствуйте, – сначала поздоровался мальчишка, – пойдете... – Он вывел Зину на другую улочку и показал рукой: – Вон, видите, вон это сельсовет...» «Мальчик, – сказала Зина, – если тебя спросят, ты не говори, куда я пошла...» Сельсовет был закрыт; Зина осмотрелась по сторонам; парнишка лет пятнадцати мелькнул за соседним плетнем, посмотрел на Зину. «Иди, иди сюда, подойди... – позвала его Зина, – мне председатель нужен; где его дом, он где живет?» «Вон его дом, – показал парнишка рукой, – вот этот; позвать?» «Позови, только побыстрее, – говорит Зина, и вдруг она испугалась, – а председатель не у нас, он не у Мартыщенков сейчас?» – спросила она у парнишки, а то зайдет он сейчас к Алексею во двор, найдет председателя и позовет громко – вас там человек чужой ждет... или что-нибудь в этом роде, и Алексей догадается... «Ни, он не у вас, – уверенно говорит парнишка, – он дома должен быть...» Зина уже устала стоять, у нее за плечами вещмешок, она повисла на костылях, давая отдых раненой ноге; и вдруг она видит, как к сельсовету торопливо идет мужчина, а за ним равнодушно вышагивает посланный парнишка. «Здравствуйте, – говорит ему Зина, выступая из тени деревьев, – а я к вам... я к вам от...» – она не договаривает. «Знаю, знаю я, от кого ты... все село почти что у вас...» «Вы не дадите мне... – говорит Зина; она почему-то всей душой заранее проникается к этому постороннему мужчине благодарностью, просто за его участливый тон, за то, что он тревожно и по-доброму смотрит на нее, за то, что прибежал так быстро, за то, что она может просить его о помощи, – мне до станции только доехать... мне бы... транспорт какой-нибудь». «Дам, дам. Дам я тебе бидарку, – говорит председатель, – вот он и отвезет, – и показал на равнодушно слушающего парнишку, – эх, дивчина... правильно делаешь, что уезжаешь. Заест тебя эта змеюка. Недавно со мной тут так скандалила. На всю деревню знаменитая... Алексея жалко, он хороший мужик... вот Алексей хороший мужик! А эта не даст жизни! Уж знаю я, как она тебя встретила! Правильно делаешь, что уезжаешь...»

Зина тряслась в бидарке, а парнишка правил лошадей; куда она поедет – Зина толком не представляла себе; сесть в поезд, добраться до Борисоглебска, и дальше – в Воронеж, и там уже все обдумать; главное – найти маму... Воронеж... а ведь когда-то, давно, она была тогда шестилетней девочкой, ее отца послали в эти края для борьбы с бандитами, раскулачивать середняков, и он вызвал сюда семью... Отец был в Москве, на каких-то партийных курсах, и оттуда выслал Марфе Даниловне в Кустанай шестьсот рублей на дорогу; матери долго не выдавали эти деньги – отец послал деньги Марфе Гуляевой, а у матери в документах значилось – Мария Гуляева; пока то да се, пока отец заново подтвердил, что деньги Марие Гуляевой, пока мать наконец получила эти деньги, и осень подступила – и вот мать, Зина, два старших брата и младший Юра выехали в Воронеж; у Зины за пазухой сидит маленький щеночек; сколько мать ругалась

просила Зину оставить этого щеночка – Зина ни за что. «Все равно тебя в поезд не пустят с ним, – говорила мать, – все равно заставят выбросить! Лучше сейчас оставь, или отдай вон мальчишкам, пока они просят!» «Нет, – плакала Зина, – не отдам! Он мой, и никто его не увидит; я вот так спрячу!» И щеночек смиренно сидел у Зины за пазухой, как будто понимал, что решается его судьба; он был весь черненький, и только два желтых пятнышка над глазами, и маленький дрожащий от радости и страха хвостик. В вагоне было тесно, душно, народ тяжелый; ехать далеко, а прилечь негде, разве только уронишь голову маме на колени вместе с маленьким братишкой, или приткнешься к ее плечу, и сладко спишь, а голова трясется и трясется под стук колес; Саша с Гришей, два старших брата, те засыпают, прижавшись друг к другу... а поезд тащится и тащится, и кажется, что не будет конца дороге... Мать вышла на какой-то станции, вернулась со стопкой лепешек в руках, аппетитных, румяных, с душистым хлебным запахом... «Мне, мне! – закричал самый маленький четырехлетний Юра. – Мне самую большую! Мама, дай мне самую большую лепешку!» «Да замолчи ты, черт лобастый!» – в сердцах сказала мать и ткнула его ладонью в выпуклый большой лоб. А бабка-соседка косилась на Зинину собачку. «Вот уже контролер сейчас... вот я ему скажу! – грозилась она. – Вот уж будет тебе! Еще собак не хватало в такой тесноте...» А Зина прятала собачку за пазуху и ненавидела бабку самой лютой ненавистью... И ведь бабка сказала контролеру про собачку; контролер выписал квитанцию и заставил Марфу Даниловну заплатить штраф; Марфа Даниловна деньги отдала, и так посмотрела на Зину, и так покачала головой, а Зина была рада, что собачку у нее не отобрали... И вредная бабка была рада. И вдруг контролер, высокий и нескладный старик, чуть тронул Зину за руку, незаметно мигнул ей и кивнул головой в сторону выхода; Зина пошла за ним; в тамбуре контролер торопливо вынул деньги, которые взял у Марфы Даниловны, и сунул их Зине в руку. «На, отдай матери, – сказал он, – чтоб никто не видел, потихоньку отдай; а квитанцию мать пусть порвет... И не говори никому!» Зина побежала к матери с зажатыми в кулак деньгами, а щеночек так и сидел смиренно у нее за пазухой, не шевелился, хоть Зина и бежала со всех ног...

Зина тряслась в бидарке; всегда такая любознательная, открытая, сейчас она не хотела даже смотреть по сторонам; сидела, полузакрыв глаза, и топот лошадиных копыт понемногу успокаивал ее, как будто монотонно выбивал из нее обиду, и ядовитые слова свекрови уже не так жгли ее. «Ни тут нема, ни тут нема, – без конца равнодушно крутилось у нее в голове, – да еще и на костылях...» – крутилось равнодушно, но какая тонкая грань была между этим равнодушием и горькой обидой... Лошадь бежала по пыльной проселочной дороге, а Зина придерживала подпрыгивающие и торчащие костыли, чтобы они не выпали из бидарки, она сидела задумавшись... опять ее жизнь делает крутой поворот, и опять в неизвестность... «Ни тут нема, ни тут нема...» – почти как надоедливая песня так и крутилось у нее в голове, она уже и разозлилась на себя и все равно никак не могла избавиться от этих прилипчивых слов... Вдруг другой, быстрый и дробный топот раздался сзади; прилипшие слова моментально вылетели из головы; Зина и парнишка оглянулись одновременно – Алексей во весь опор скакал на лошади и уже догонял их. «Стой! Стой! – закричал Алексей. – Зина! Остановись...» – он обогнал бидарку и перегородил дорогу. Зина краем глаза выхватила вещмешок,

который висел у него за плечами... «Ну и зачем ты догонял? – говорит она. – Я все равно не вернусь». «Зина! – умоляющим голосом, запыхавшись и отдуваясь, говорит Алексей; он спрыгнул с коня и нервно, дрожащими руками держал его под уздцы, – ну что ты обращаешь на нее внимание! Ну мы же так и так уедем! Все ждут нас там... Зина!» «Вот и возвращайся сам! А я сказала, не вернусь, значит, не вернусь! Да я лучше поеду куда глаза глядят! Ты думаешь, мне никто не поможет? Еще как помогут! Да мне только маму найти... – и вдруг вся обида которая, казалось, уже не жгла ее, нахлынула на Зину; горькие, горячие, унижительные для нее слезы подступили к горлу, навернулись на глаза; Зина усилием воли взяла себя в руки и сказала твердо: – А ты как хочешь, Алексей! Я тебя не держу!» «Да я и так знал, что не уговорю тебя, – сказал Алексей, – да я и сам... – он махнул рукой. – Коня привяжем к бидарке, – кивнул головой на парнишку, – он отведет его назад... Зина! – вдруг сказал он и остановился, словно удерживая самого себя, и все равно у него вырвалось: – Никому тебя не отдам!»

Если бы человек знал, что ждет его впереди; не через год, не через два, не через десять лет, а впереди, впереди, перед вечностью... много, много людей бы сжалось в комок, обхватило бы голову руками, и глаза бы не поднимали на свет божий...

В Кутаиси Зина с Алексеем поселились в общежитии; это было длинное одноэтажное здание, чистенькое, хоть и похожее на барак; недалеко протекала река Рионь; рядом с общежитием – живописное нагромождение огромных каменных глыб, которые когда-то принесла сюда взбунтовавшаяся, вышедшая из берегов река; а сейчас по этим камням лазают мальчишки, играют... У Зины и Алексея комната и в ней же кухонька; общий телефон висит в коридоре на стене.

Первым делом нашли профессора Глаголия; он прочитал письмо от профессора Титова с явным удовольствием, у него улыбка светится на румянном и холеном лице, и он нетерпеливо показывает отдельные строчки жене – она тоже врач, и тоже сидит тут же – клиника у них своя, частная; Зина сравнивает их; он – холеный и румяный, и красивый; она – смуглая, тяжелая, и даже усики вырисовываются над губой; надо им поменяться лицами – делает вывод Зина. Профессор Глаголия обследовал Зину; он исписал целый лист, что нужно принести – тут и свежайшее масло с маслобойни, и орехи, и травы; все это надо купить и принести, и из всего этого он изготовит лекарство.

Рано утром за Алексеем приезжает машина, и он уезжает на строительство завода; и Зина остается в своей комнатке одна. Иногда она любит гулять по Кутаиси, пойдет на базар – и нарочно сделает круг, чтобы пройтись по улицам, посмотреть на дома – в каждом доме сквозь окна просвечивают тяжелые богатые шторы, богатые тюли, и так хочется Зине поближе рассмотреть эти шторы и тюли, и мысленно она решает, какую бы тюль она повесила на свое окно; а дома какие – добротные, красивые, иногда в открытом окне Зина краем глаза видит сверкающее пианино, да здесь в каждом доме должно быть пианино – и Зина всему удивляется; удивляется она, как живут эти люди, грузины, какой у них богатый, размеренный, спокойный город – здесь есть частные магазины, коммерческие магазины, здесь изобилие, здесь продукты – какие хочешь, стоит только выйти на базар; базар здесь – в центре города, и это тоже так удобно... а климат – только дышать этим воздухом, и уже достаточно, и уже от одного этого

чувствуешь, как силы возвращаются к тебе... даже за лавровым листом не надо куда ходить – вышла за порог и нарвала.

Проводив Алексея, Зина с утра принимается за лечение. У нее на столе батарея бутылок, на каждой бутылке наклеен номер – 1, 2, 3, 4 и так далее, рядом тетрадь, в которой записано, поскольку, когда и из какой бутылки принимать лекарство, и Зина строго придерживается схемы, Зина вообще все любит делать аккуратно; в ее комнате и кухоньке – идеальный порядок, занавесочка висит на окне; занавеска с оборками, и сшила ее сама Зина; она не ленится каждый день протирать пол, и чистая влажная тряпка всегда лежит у порога; над диваном она развесила фотографии, и Васи Журавлева фотография среди них; как-то Алексей спросил ее – а это кто? Двоюродный брат – ответила Зина... только маленькую, маленькую первую Васину фотографию она прячет, нельзя ее повесить на стену – ты только дождись меня, и я приеду, и ты все на свете забудешь под моими ласками – никакой брат так не напишет, никакой двоюродный... Кроме лекарства из бутылок, Алексей раз в несколько дней привозит Зине длинный пласт еще теплого парного мяса с мясокомбината; Зина прикладывает этот пласт к области печени, забинтовывает и ходит так несколько дней; весь мясной сок впитывается сквозь поры, пласт истончается, как бумага, появляется неприятный запах – и тогда только Зина меняет этот пласт на другой, свежий, за которым снова едет Алексей на мясокомбинат; это тоже метод профессора Глаголия.

Завод строят пленные немцы; иногда Алексей звонит домой, и кто-нибудь из соседей зовет Зину к телефону. «Ты не приедешь сегодня? – спрашивает Алексей. – А то бы привезла пачек пять «Беломора»; а вечером вместе домой... тут тебе еще подарочек приготовили». «Приеду, – говорит Зина, – куплю по дороге и приеду...» «Беломор» Алексей просит купить для пленных немцев и тайком отдает им; сам он не курит; ему не то что курить – дышать порой тяжело, потому что у него – осколки в обоих легких... Но не только из-за «Беломора» Алексей просит приехать Зину; Зина знает, что он гордится ею, что ему приятно, когда видят, какая у него жена; здоровье у Зиной пошло на поправку; теперь она уже не та тощая и хромая невестка, которую Алексей привез к матери, теперь свекровь не сказала бы – ни тут нема, ни тут нема, да еще на костылях... костыли давно спрятаны в темном углу, давно забыты; Зина набрала вес, у нее изумительно красивое юное лицо, у нее фигурка; Зина шьет сама, и на ней всегда красивое платье...

Вечером Алексей и Зина возвращаются домой; у Алексея в руках – маленькая табуреточка; эту табуреточку изготовили пленные немцы, это подарок Зине; табуреточка сделана так красиво, так аккуратно, что просто удивляешься – какие все-таки мастера эти немцы, мастера на все руки; они дарят Зине табуретку, Зина возит им «Беломор» – а ведь совсем недавно они воевали друг с другом, и цель каждого из них была – истребить другого, и каждый верил, каждый считал, что именно он прав, что именно он должен истребить другого; а теперь эти немцы, эти враги за колючей проволокой, и земля вокруг постоянно пропахивается и поливается известью, чтобы каждый след был виден, как на ладони, чтобы и мысли ни у кого не могло возникнуть, чтобы вырваться за этот очерченный круг; но кончится когда-нибудь и эта колючая проволока, кончится плен, как кончается все на свете, кто-то уедет на родину, а кто-то, может быть, останется здесь, обзаведется семьей... а кто-то в далекой Германии долго еще будет ждать, будет тосковать... Василий...

почему-то мелькает у Зины в голове... и душа у нее тут же обволакивается такой осязаемой светлой, нежной, и даже какой-то приятной грустью.

Алексей еще с войны привез Зине платье из ярко-синего шифона; платье было длинное, до пола, и у Зины давно чесались руки на это платье – она хотела переделать его под себя, но никак не решалась; и вот вечером Зина разложила платье на полу и стала в который уже раз рассматривать его, прикидывая, что бы такое из него сшить – но цвет ее смущал, уж больно яркий, уж больно броский... «Зина, – позвал ее Алексей, – вот ты как бы поступила... – Зина подняла голову от платья и посмотрела вопросительно на Алексея; она привыкла, что он советуется с ней. – Вот что бы ты сделала – мне нужен заместитель, и кого взять? Возьму немца – для работы будет хорошо, сама знаешь – порядок, и воровства никакого, но – неправильно поймут... Возьму грузина... – Алексей вздохнул, – тоже сама знаешь; сразу начнет строиться... ну вот что бы ты сделала?» Зина подумала чуть-чуть: «Я бы немца взяла. Раз для работы хорошо. Что для работы хорошо, то и надо делать». Алексей усмехнулся: «Немца... хорошо бы немца, а неправильно поймут – тогда что?»

Зина и из Кутаиси писала везде письма; она написала и в Кустанай – вдруг мама вернулась в Кустанай, и в Армавир, она и Лиде Разуковой написала, и ни одного ответа; Зина не знала, что Лида Разукова развелась со своим мужем и давно живет у матери, которая осталась одна – брат Лиды погиб на войне; а муж Лиды, назло бывшей жене, сжег оба письма, которые пришли от Зины.

Однажды вечером Зина с Алексеем шли к своему общежитию; на скамейке возле общежития сидел посторонний мужчина; сердце у Зины невольно вздрогнуло и сжалось – очень знакомой показалась ей фигура мужчины; а мужчина поднял голову, посмотрел на нее – и Зина, еще не веря глазам, узнала в нем своего младшего брата, Юру; того самого Юру, который кричал когда-то в поезде – мне самую большую лепешку, мама, мне! Того самого Юру, который несколько раз убегал на войну... И Юра тоже узнал Зину, уже приподнялся со скамейки, улыбаясь во весь рот, уже раскинул радостно и удивленно руки ей навстречу; Зина видит краем глаза, что Алексей нахмурился, насторожился. «Брат мой, Юра, – говорит ему Зина, – и как нашел меня!» Лицо Алексея моментально светлеет...

Алексей и Юра видят друг друга первый раз; Юра за спиной Алексея улучил момент и сделал Зине значительное лицо, уважительно покачал головой, и Зина поняла его – какого ты себе мужа отхватила! Молодец ты, Зинка! И Зине приятно; Алексей – майор, с высшим образованием, он начальник большого строительства; он очень грамотный и может поговорить на любую тему, и он – ее муж... Пока Зина готовила на плите ужин, а Алексей мылся, переодевался, Юра разглядывал фотографии на стене, над диваном. «А Васька Жура что тут делает?» – вдруг удивленно спросил он у Алексея и показал на фотографию солдата в шинели; Алексей подошел, промокнул полотенцем мокрое лицо. «Да это же ваш двоюродный брат», – сказал он, приглядевшись к снимку. И тут произошло невероятное – Зина вдруг прыгнула на диван, сорвала со стены фотографию и бросилась за дверь. «Двоюродный брат... – протянул Юра, – да этот двоюродный брат, если только он жив, из-под земли Зину достанет, хоть где ее найдет...» Зина вернулась через пять минут и снова принялась за ужин; все сделали вид, что ничего не было; и никогда ни словом не спросил Алексей у Зины про Василия, и никогда ни слова

не сказала она ему про него; только брата Юру, улучив момент, Зина отругала: «И кто тебя тянул за язык? Нет бы молчать! Вот кто просил тебя говорить про Ваську Журу? Смотри-ка, увидел фотографию! Увидел и молчи! Так? Или не так!» Несколько дней фотография Васи Журавлева пробыла у соседки; только потом Зина забрала ее и уже надежно спрятала, вместе с той, маленькой, первой фотографией, на которой было написано истертymi буквами – ты только дождись меня, и я приеду, и ты забудешь все на свете под моими ласками...

Оказалось, что Юра приехал из Кустаная; он ездил в Кустанай, искал Зину; там он прочитал Зинино письмо и узнал ее кутаисский адрес; а самое главное – Юра сообщил Зине, что мама, Марфа Даниловна, сейчас совсем близко от Кутаиси, она сейчас в Орджоникидзе. Зина сразу же написала матери письмо; Марфа Даниловна ответила. «Это Сашка меня взбаламутил, – писала она, – вызвал меня, я и приехала в эту Орджоникидзу; Сашка говорил, что он тут останется, а генерал его или передумал, или перевели его в другое место, только Сашка мой сорвался вместе со своим генералом и уехал... и осталась я, да Гена, да Римма; что делать? Попробовала в Армавир – тоже не жизнь, ты сама видела, вот и вернулась в эту... Орджоникидзу, а еще называется Владикавказ, а еще Джоджикау, что ли, – не знаю, как точно сказать, не то что написать... Зина, когда ж ты приедешь ко мне? Уж приехала бы поскорее, тебе одной легче собраться, чем мне с Геной, да с Риммой... хоть увидеть тебя, Зина...»

Зина выслала матери сто рублей; потом подумала и матери Алексея тоже выслала сто рублей, чтобы было справедливо; она решила не говорить об этом Алексею – ну что это, сто рублей, не стоит и разговора; квитанции бросила на стол и забыла... Поехать к матери сейчас Зина не могла – у нее второй месяц беременности, ее тошнит, у нее капризы на еду, на запахи, ей постоянно хочется прилечь, постоянно хочется спать; соседка по общежитию, у которой были дети, сказала Зине, что это нормально, что так всегда бывает в первые два месяца, а на третьем месяце и тошнота пройдет, и слабость пройдет, а аппетит появится такой, что еще и оттаскивать придется от тарелки за уши. «Вот тогда и поеду к маме, – решила Зина, – а то как я сейчас... мама, мама... – вздохнула она, – да как же ты родила аж шесть детей...» Вечером Алексей наткнулся на квитанции. «Зина, а это что такое?» – спросил он – Зина лежала на диване. «Что, Алексей, – Зина приподняла голову с подушки – ее мутило, – и увидела квитанции, которые Алексей держал в руке, – а... это я, послала, твоей матери послала и своей... по сто рублей; как-то же надо... все-таки матери...» «Зина, я ничего не говорю – послала и послала, но зачем ты моей послала! Послала бы своей – и все! Забыла ты, как она тебя... да если бы только это; ты многого не знаешь, Зина! Не надо было ей посылать!»

Зина каждый день ходит на базар – и купить каких-нибудь фруктов, и прогуляться; базар недалеко от общежития; Зине нравится ходить по рядам, нравится это изобилие, нравятся эти добротные, колоритные, усаые грузины за прилавком; хотя они на вид только такие щедрые – когда Зина первый раз купила на этом базаре килограмм мандаринов, она отдала продавцу деньги и стояла, ожидая сдачу; грузин смотрел на нее; Зина смотрела на него. «Что?» – недовольно спросил наконец грузин. «Сдачу, – сказала Зина, – деньги...» – и для понятливости пошелестела пальцами; и вдруг грузин побагровел: «На! – он кинул на прилавок ее деньги, – бери! И это бери! Не надо ничего!» – и презрительно и грубо ткнул Зине ее сетку с мандаринами. Зина сначала опешила; но потом твердо сказала: «Не надо

мне без денег! Я заплачу, сколько положено...» Но грузин не дал ей договорить: «Ничего не надо! Иди!» Зина матеркнула его в душе русским матом... но сделала вывод, и теперь, прежде чем что-то купить, Зина сначала считает деньги, чтобы отдать ровно столько, сколько нужно... «Да как же это так – сдачу не давать? Да как же это так?» – недоумевала она. По дороге домой Зина зашла в коммерческий магазин; увидела на витрине конфеты, «Раковые шейки», и до того ощутила во рту вкус этих конфет, что слюны у нее потекли; сколько раз заходила Зина в этот магазин, а «Раковых шеек» не видела... Зина поняла – не уйдет она из магазина без этих конфет; но уж больно дорогие, килограмм – шестьсот рублей! Зина купила двести грамм, пока шла до дома, не успевала фантики разворачивать и все съела; не в силах противиться самой себе, она вернулась и купила еще полкило; дома сразу же спрятала под подушку несколько штук, Алексею; настроение у Зины улучшалось и улучшалось, и она ела и ела «Раковые шейки»; уже полезла под подушку, достала одну; потом еще одну... пока под подушкой ничего не осталось; Зина задумалась; соседка говорила, что беременным нельзя отказывать себе ни в чем, что это организм требует, а организм знает... у Зины организм требовал «Раковых шеек»... Она все-таки пошла и купила еще двести грамм; пришла домой и твердо спрятала под подушку Алексею... Вечером Зина еле дождалась Алексея; у нее была чисто женская черта – она все рассказывала Алексею, все, вперемежку с тем, о чем женщина похитрее промолчала бы... «Килограмм – шестьсот рублей! Я двести грамм купила и по дороге все съела, а еще тебе думала оставлю... вот хочу, и все, не могу остановиться! Ведь я вернулась, Алексей, и купила еще полкило; дома ем, ем... тебе под подушку спрятала, подойду – возьму одну, опять подойду – возьму одну, пока и твои не съела... Ведь третий раз сходила в магазин – продавщица уже на меня смотрит, и еще двести грамм купила... вот сколько денег я проела, Алексей, почти шестьсот рублей!» – Зина рассказывала Алексею, а сама сделала виноватое лицо. Зина совсем не была кокеткой, но она была женщиной, а женщина – сильная ли она, или слабая – все равно женщина, и хочет от мужчины и ласки, и проявления какой-то благодарности, и мужской снисходительности к своим женским слабостям; а уж если она еще и ждет от него ребенка... Алексей не смотрел на Зину. Вдруг он поднял голову и сказал: «Зина! Никогда не говори мне, сколько ты потратила! Нужно тебе – взяла деньги и купила! Если деньги кончатся, так и скажи – деньги кончатся, и все; а на что ты потратила – мне не говори! Зина, я не такой уж добрый, и не такой я покладистый! Если хочешь знать, то я скупой! Проела – и проела... а мне не говори...» Зина промолчала, а ночью она тихо плакала в подушку; почему ей было обидно – она толком не могла понять, ведь ничего обидного Алексей не сказал; наоборот – трать на что хочешь, только не отчитывайся...

После двух месяцев тошноты, головокружения, слабости к Зине начал возвращаться аппетит – права оказалась соседка; теперь Зине постоянно хотелось есть; Зина боялась в душе, что ее ранения, контузии, ее болезни отразятся на ребенке, и она молилась, чтобы Бог пожалел ее и сделал так, чтобы ее первенец родился здоровеньким: «Господи, – молилась Зина, – пусть мой ребенок будет здоровым, будет крепким, Господи! За других детей я не буду Тебя просить, только пусть этот родится здоровым!» Не знала тогда Зина, что с еще большей болью, с большим страхом в душе будет она так же просить Бога за второго...

Зина решила поехать в Батуми и купить у рыбаков свежайшую, только что выловленную, живую рыбу; живая рыба самая полезная, а ей сейчас так нужно все полезное; от Кутаиси до Батуми – рукой подать, ходит пригородный поезд; утром выедет, а вечером уже дома; но Алексей начал отговаривать Зину: «На базаре же есть рыба, Зина! Не ездь ты никуда! Сходи на базар и купи... ну кто за рыбой ездит в Батуми! Когда базар вон рядом...» «Я хочу кефаль... я и саквояж приготовила. Поеду я, Алексей, хочу я, и не отговаривай меня! Хочу у рыбаков купить – они прямо на берегу продают, живую, поймают и тут же продают!»

Зина ехала в пригородном поезде; в руке она держала пустой саквояж, а в душе у нее плыла, покачиваясь под стук колес, какая-то светлая, томительная, перемешанная с радостью грусть; в дороге часто появляется такое настроение – радость от движения, от ощущения жизни, от перемены обстановки, от невольного ожидания чего-то хорошего впереди; человек изо дня в день живет этим ожиданием и не замечает этого, и только в дороге это ожидание словно вырывается наружу; грусть же бывает оттого, что вдруг понимаешь – как дорого все, что остается позади, пусть ты вернешься туда, даже сегодня вернешься, но как оно дорого, как оно твое... Зину уже не мучает тошнота, аппетит у нее просто зверский, и она с удовольствием ощущала свое крепкое, молодое, наливающееся жизнью тело; она ловила на себе пристальные взгляды мужчин и женщин – мужчины долго и с явным удовольствием задерживали на ней свой взгляд, а женщины смотрели мельком и быстро и недовольно отводили глаза, делая вид, что случайно Зина попала в поле их зрения, – и Зина прекрасно знала, что женщины невыносимо ревнуют к чужой красоте, а если сказать по-простому – завидуют. Но тогда Зине и в голову не могло прийти, что зависть, простая человеческая зависть всегда черного цвета... и проявляйся этот цвет, мир почернел бы...

В Батуми Зина сразу же отправилась на берег моря; нашла рыбаков; она просила у них кефаль, но они уговорили Зину купить катран; рыбаки расхваливали эту рыбу – и вкусная, и жирная, тает во рту, и без костей, только один позвоночник тянется вдоль хребта – не зря по-другому называется морская змея; а кефали сейчас нет, кефаль долго ждать, а катран не только не хуже, а даже лучше; один раз только попробовать, и постоянно потом будет хотеться катрана; Зина купила штук семь катранов – больше не влезало в ее саквояжик, чуть-чуть прогулялась по Батуми и отправилась на вокзал. Зина и не заметила, как пролетело время; оказалось, что последняя электричка уже уехала и надо ждать утра; Зина удивилась, что по перрону слоняется человек семь-восемь таких же опоздавших, как и она, что не заходят они в здание вокзала – не слоняться же по перрону до утра... и тут выяснилось, что здание запирают на ночь; а тут еще начал накрапывать дождь, и походи-ка под дождем до первой электрички... И вот толпа из семи-восьми человек, и Зина с ними, пошла к трехэтажным домам, которые находились рядом с вокзалом; уселись под балконом одного из домов кто на чем, Зина примостилась на своем саквояжике; дождь мелко сыпал; было сыро, влажно... люди жались друг к другу, чтобы было теплее, кто-то прикорнул к плечу соседа, положил голову, пытаясь уснуть; спать в таком положении невозможно, и затеяли анекдоты; анекдоты чем дальше, тем круче и круче, и вскоре уже такой хохот раздавался из-под балкона, что жильцы начали возмущаться. Один хозяин вышел на балкон, попросил утихомириться, потом другой; а толпа если и затихнет, то на минуту, а потом снова взорвется от хохота... а анекдоты пошли уже такие

сальные, что Зина сидела, прикрыв уши руками. И вдруг приехали милиционеры – видимо, их все-таки вызвал кто-то из недовольных жильцов; всех отвезли в отделение милиции. Абхазцы – грубые, по-русски только матерятся хорошо, а говорят с сильным акцентом; какая-то лестница вела вниз, абхазец-милиционер стоял возле лестницы; всем сказали по одному спускаться по этой лестнице; абхазец-милиционер каждого, кто проходил мимо него, награждал пинком под зад. Дошла очередь до Зины; она остановилась, повернулась к абхазцу, посмотрела ему прямо в лицо и сказала: «Только тронь! Я мужу скажу, он так тебя тронет, что тебе мало не покажется! Ты знаешь, кто у меня муж!» – и абхазец не посмел тронуть Зину. Внизу была большая комната, почти пустая, только облезлый стол и милиционер за столом сидел на ободранном кресле; Зина оглянулась, куда бы сесть, но ни одного стула не было в комнате; милиционер заметил ее взгляд, крикнул что-то по-абхазски, и тут же откуда-то сверху принесли стул и дали его Зине; Зина села; пока у задержанных проверили документы, уже и рассвет забрезжил, и вскоре всех выпустили, и снова каждый проходил по лестнице мимо абхазца-милиционера теперь уже вверх, и снова каждому он добросовестно давал пинка под зад; когда дошла очередь до Зины, он застыл на секунду, смешался, и Зина спокойно прошла мимо него; знал бы абхазец-милиционер, как ему повезло, что он не тронул Зину...

Когда Зина с первой электричкой приехала домой, Алексея дома не было, он уехал на завод; Зина увидела на столе записку: «Срочно позвони!» – и такая злобная энергия, такой напор исходили от этой записки, от каждой четкой острой, впившейся в бумагу буквы, что сердце у Зины екнуло и сжалось – она чувствовала себя виноватой; она подождала немного, пока уймется дрожь в сердце, и позвонила Алексею на завод. «Дома поговорим, – отрывисто сказал он, услышав в трубке голос Зины, и уже невольно мягче, – с тобой же все в порядке... Занят я сейчас, дома поговорим!» – он говорил зло, отрывисто, но в его голосе Зина уловила такую радость, такое облегчение, что на сердце у нее сразу стало легко и тоже радостно... сейчас она нажарит рыбы, вечером она встретит Алексея таким ужином...

И Зина начала жарить рыбу; полдня она ее жарила; жарила и ела, и не могла остановиться – рыбаки не обманули, на редкость вкусная была рыба, жирная, и таяла во рту; но рыбы было столько, что Зина угостила всех соседей, и все равно осталось; но на другой день рыбу невозможно было есть – какой-то неприятный запах, похожий на запах мочи, появился у жареного катрана...

В это время Алексей познакомился с начальником кутаисской милиции; это был красивый, здоровый, очень представительный мужчина лет сорока с небольшим; и имя у него было красивое – Павел; его черные, густые, чуть вьющиеся волосы уже начинали слегка седеть, и на висках поблескивали серебром, а усы были черные как смоль; он был где-то лет на десять старше Алексея, но имел уже троих сыновей, и все трое красавцы, в отца; у него была жена, грузинка... Как-то Павел пригласил Алексея с Зиной к себе в гости; первый раз Зина оказалась внутри дома, в которые ей так интересно было попасть; но поразили Зину не богатые шторы и тюли, не пианино, которое она первый раз в жизни видела вблизи, – ее поразила картина в одной из комнат; картина была большая, на всю стену; как-то буря повалила огромное дерево на берегу Риони, и упало это дерево на противоположный

берег реки; жители ли дружно поработали, или еще кто, но этот богоданный и живописный мост довели до ума, лишние ветки обтесали, приделали перила; и вот картина как раз изображала, как Павел встречается на этом мосту со своим лучшим другом, другом с детства, другом на всю жизнь, и как они жмут друг другу руки на самой середине моста; картина как бы символизировала вечную и крепкую мужскую дружбу... Зина смотрела на эту картину и удивлялась – какие все-таки люди, эти грузины, как любят возвеличивать себя, а главное, как умеют это делать... «А мы, – с обидой думала она, под словом «мы» подразумевая себя и весь свой горемычный, разухабистый, без претензий русский народ, – навесим фотографий на стенку и рады до смерти, а если еще и под стекло... да ладно бы просто была картина, а то ведь – на всю стену... интересно, кто ж нарисовал такую? Какой же это художник смог так нарисовать, чтоб на всю стену...»

Зина собралась ехать к матери в Орджоникидзе; маленькой Римме было уже шесть лет, а Зина последний раз видела ее в Армавире, трехлетней; Зина тогда привезла ей куклу, из белой простыни сшила ей платье с пышными оборками и сфотографировалась с Риммой на руках; эта фотография вместе с другими висит в общежитии на стене над диваном – Зина в гимнастерке, на голове пилотка, на коленях сидит маленькая Римма в белом платье с пышными оборками; лицо у Риммы сморщенное, недовольное, она вот-вот готова заплакать; а Зина наклонилась к ней, и лица Зина почти не видно, только чуть-чуть в профиль... Зина поехала в Орджоникидзе по военно-грузинской дороге; это было намного короче, чем ехать поездом; Зина слышала, что дорога опасная, но одно дело – слышать... сердце у Зины как провалилось куда-то в пятки, так и замерло там; дорога была не только опасная, жуткая была дорога – с одной стороны отвесная скала, с другой – пропасть, да еще узкая, да еще петляет так, что голова у Зины уже не знала, в какую сторону кружиться... на войне Зина столько раз не прощалась с жизнью, как на этой военно-грузинской дороге. А когда заехали в туннель, и Зина увидела огромные сосульки, которые не тают даже летом, в самую жару, а потом, когда начался снежный подъем, к колесам «студебекера» прикрутили тяжелые цепи, потому что иначе даже эта выносливая немецкая машина не может подняться на такую высоту...

Десять дней прогостила Зина у матери в Орджоникидзе; она увидела, как постарела, сохлась мать, как высохли тонкими морщинками ее губы, когда-то выразительные, красиво очерченные, упругие губы, и уже две глубокие морщины пролегли от крыльев носа и почти до самого подбородка; только глаза у матери не поблекли, но столько в них было пронзительной, устоявшейся, привычной боли. А ведь Марфа Даниловна была счастливой матерью – трое ее детей прошли войну, и все трое вернулись с этой войны, а старший, Саша, даже ни разу не был ранен, и Зина понимала умом, что для каждой матери это и есть самое настоящее счастье; понимала умом, и только почти через пятьдесят лет она поймет это уже не умом, а всем существом своим... Мысли о жизни невольно приходили ей в голову; всю жизнь бьется Марфа Даниловна, одна подняла шестерых детей, уже четверо разлетелись из гнезда – с матерью остались только Гена да маленькая Римма, и не так уж много пройдет времени, когда улетят и они, и что дальше? Это что дальше как-то смутно страшило Зину... родится и у нее ребенок, и будет она растить его, и как будет лелеять его, оберегать, как вложит в него всю свою

душу, и он вырастет – от одной этой мысли Зина задышалась от счастья, – и как же она будет оберегать его дальше... что она оторвет его от себя, когда он вырастет, Зина не могла и представить – нет, она всю жизнь будет над ним, как крыло; и Зина попросила у матери научить ее молитве, самой простой... нет, самой нужной; и молитва эта была – «Отче наш» – сколько раз в детстве слышала Зина от бабушки эту молитву...

Зина училась в первом классе, когда вдруг в один день к ним пришла бабка Ольга, мать Марфы Даниловны; она пришла с узелком в руках и попросилась жить; ее пустили, хотя все эти годы она не признавала ни свою дочь, Марфу, ни ее детей... только за то, что шестнадцатилетней девушкой Марфа убежала из дома к Гришке, к этому коммунисту и анчихристу, еще и нищему... Сначала бабка Ольга была ниже травы, тише воды, потом освоилась, потом повесила киотку на стену, икон наставила... Григорий Николаевич будто не замечал; а бабка Ольга стала потихоньку учить Зину молитвам, строго-настрого наказав ей не говорить про это никому; а Зина как-то забылась и скороговоркой при отце начала повторять «Отче наш»... Григорий Николаевич насторожился, прислушался, подозвал Зину к себе и строго спросил, кто научил ее молитве, хотя и так ясно было – кто... Потом он сказал бабке Ольге: «Мамаша, я вам ничего не запрещаю; хотите вешать киотки – вешайте, иконы хотите ставить – ставьте, я вам не запрещаю; но учить молитвам моих детей я вам запрещаю!» После этого бабка Ольга залезла на печь и уже не слезала оттуда; в кармане у нее была острая палочка, и этой палочкой она ковырялась у себя в носу, пускала кровь, а потом вытирала кровь бурой тряпкой, которая тоже была у нее в кармане; она говорила, что у нее болит голова и ей легче, когда она пустит кровь... ее звали кушать, а она тихонько просила Зину принести ей тарелку с едой на печь, и Зина приносила. «Смотри-ка, барыня какая, – ворчала другая бабка, Наталья, бабушка Григория Николаевича – она как раз в это же время тоже попросилась к ним жить, потому что не ужилась со своей снохой, – еще и еду ей на печку подавай! Не носи ей, Зенка, пускай слезает... ишь ты, барыня какая нашлась!» А Зина любила бабку Ольгу, любила сидеть с ней на печи; прижмется она спиной к бабушкиной груди, а бабушка обнимет ее двумя руками за плечи, уткнется мягко ей в затылок подбородком и начнет рассказывать сказки; на дворе зима, метель метет, ветер рвет и свистит, а иногда так ударит в окна, что стекла задрожат; или вдруг завоет, загудит в трубе... а на печи тепло, тесно, бабушка рассказывает страшные сказки, и у Зины душа замирает; но рядом бабушка, и в любой момент можно посильнее прижаться к бабушкиной груди, полностью спрятаться в ней, и тогда ничего не страшно...

В Кутаиси Зина вернулась поездом; она привезла с собой Римму; Зина соскучилась по ней, да и мать хоть немного отдохнет от забот... Зина знала, что и в Орджоникидзе мать бралась за любую тяжелую работу, чтобы как-то прокормить Гену с Риммой, ее уже давно мучила грыжа, и нужно было делать операцию... «Мама, мама... – думала Зина, – да за что ж тебе такая судьба...» Она вспоминала, как тяжело жилось им после смерти отца, вспоминала пламенные речи над его могилой – не забудем дорогого товарища, не оставим семью коммуниста! И действительно, первое время и помогали, и продукты привозили... потом забрали молочную корову, сказав, что корова им теперь не нужна, а маленькому

Гене тогда было всего четыре года; потом пришли и забрали дом, хороший дом, с палисадником, с огородом; а переселили в общежитие, к глухонемым... и первый раз услышала тогда Зина от матери слова, которые будет потом слышать не раз, – нет на свете правды, нет, не было и никогда не будет; вспоминала длинные очереди за ситцем в Кустанае; очередь нужно было занимать с вечера, а давали ситца всего десять метров; десять метров, а детей было пятеро... На ладонях писали номера чернильным карандашом, и Зина помнит эти номера, написанные у нее на ладошке, чтобы не потерять очередь... Марфа Даниловна оставляла Зину, а сама бежала – то постирать, по помыть полы у кого-то, то протопить в общежитии печь, а иногда и кассирша просила покараулить у кассы, пока она выдает деньги, и Зина ждала, когда же придет мама, когда же подменит ее... Зина помнит – Тимофей Нечаев увидел ее в очереди, отвел в сторонку: «Не стой здесь, иди домой... Скажи маме, я возьму ей ситца... сколько ей надо, возьму...» А Зина боялась уйти, боялась бросить очередь: «Мама будет ругать...» – говорила она, исподлобья глядя на Тимофея и сжав в твердый кулачок ладошку с написанным номером; она не любила Тимофея, потому что две его дочери подкараулили ее после школы и побили ее, рвали ее за волосы, и еще говорили непонятные слова: «Будете отбирать у нас нашего папку, будете...» Зина не знала, что он пригрозил тогда дочерям: «Еще раз тронете ее, я уйду от вас...» Тимофей Нечаев нет-нет да и пытался всучить Зине какой-нибудь сверток с продуктами, а Марфа Даниловна запрещала Зине брать... а стакан пшена стоил семьдесят рублей, маленький стакан, и его никак не хватало на большую семью... как-то маленькая Римма спросила у Зины: «Почему ты Григорьевна, а почему я Тимофеевна?» «Вот когда вырастешь, я тебе скажу», – ответила Зина...

Дома Зина первым делом принялась наряжать Римму; тут и пригодилось платье, которое привез Алексей. Зина достала это платье, который уже раз разложила на полу, который уже раз полюбовалась платьем – очень красивое было платье, и так жалко было резать; но куда она его наденет, и когда она его наденет? Да и цвет – успокаивала себя Зина – уж очень яркий; а Римма – девочка, и ей яркий цвет будет хорошо; и Зина решительно распоролла платье, одним махом раскроила и тут же принялась шить; она сшила для Риммы коротенькое пышное платьице, длинные штанишки на резиночках внизу, сшила панамку и еще сделала огромный бант. Нарядив Римму во все это шелковистое великолепие, Зина шла с ней на базар; она держала Римму за ручку, а прохожие оборачивались на них, и не один раз Зина слышала слова: «Какая красивая девочка!» или «Как красиво одели девочку!» – и Римма вышагивала, гордо подняв свою светлую головку с огромным бантом. На базаре усатые продавцы глазели на Римму, одобрительно покачивали головами, протягивали ей мандарины, яблоки, но Зина не разрешала Римме ничего брать. «Ты хочешь мандарины? – спрашивала Зина. – Я тебе куплю. И яблоки куплю; я сама тебе куплю, что ты хочешь...» И маленькая Римма чувствовала себя принцессой и отворачивалась от протянутых ей торговцами фруктов.

С поезда сняли девочку лет пятнадцати; девочка сбежала из детдома, села на первый попавшийся поезд и приехала в Кутаиси; ни документов у нее не было, ни билета, ни вещей никаких – ничего не было; девочку привезли в отделение милиции и стали решать, что с ней дальше делать – то ли отправить ее обратно,

откуда она приехала, то ли здесь оставить; и тут ее увидел начальник, Павел; девочка была русская, очень красивая, с большими синими глазами, светлой кожей; ей было пятнадцать лет, и это была юная девушка, со стройной фигуркой, с тонкой талией, и уже с грудью; а какая у нее была коса – густая, пепельно-русовая, и крупные светлые завитки на лбу и на шее; а какой взгляд синих глаз из-под густых темных ресниц – быстрый, будто вскользь... очень красивая была девочка. И Павел поразился красоте девочки; она так запала ему в душу, что ночью он не мог уснуть, всю ночь ее синие глаза смотрели на него. Утром он встал и первым делом отправился к старой грузинке – она давно уже жила одна; он договорился с этой грузинкой, что Соня будет жить у нее, а он будет платить грузинке щедро, но чтобы она глаз не спускала с Сони, чтобы оберегала ее, как собственную внучку. И он поселил Соню у старой грузинки; он почти каждый день проводывал ее, но всегда в присутствии хозяйки, никогда не оставался он с Соней наедине, никогда не давал никаких поводов ни к каким подозрениям, ни к каким сплетням; он устроил Соню в школу, в седьмой класс, и старая грузинка сопровождала ее; и в один день Павел объявил семье – жене и сыновьям, что через год, когда Соне исполнится шестнадцать лет, он женится на ней. Семья – жена и сыновья – молча выслушали его, никто не произнес ни слова, никто не поднял на отца глаза...

А Павел решил построить для себя и Сони отдельный дом. Двор у него был большой, и он отгородил забором почти половину двора. Вот тут и пригодилось ему знакомство с Алексеем; то гвозди, то доски выписывал ему Алексей, Павел оплачивал в кассе, и дом строился... И тут произошло страшное событие. Павел уехал на несколько дней в командировку, а его друг, с которым они поклялись когда-то друг другу в вечной дружбе на середине моста, в этот же вечер пришел в дом к старой грузинке; уж что он сказал ей, как ему удалось проникнуть в комнату Сони – об этом никто так и не узнал. Но старая грузинка вдруг услышала приглушенные крики Сони; она ворвалась в комнату; этот друг, зажав Соне рот своими волосатыми руками, валил ее на кровать, рвал с нее одежду; грузинка тигрицей кинулась на него...

Когда Павел вернулся в Кутаиси, старая грузинка рассказала ему, что случилось в его отсутствие; Павел зашел к Соне, увидел синяки на ее руках, на лице; он молча ушел. В этот же день он пригласил друга в ресторан; ни одним намеком, ничем Павел не выдал себя, не выдал, что он знает, что хотел его друг сделать с Соней... Допоздна засиделись они в ресторане, выпили много вина, особенно друг... Вышли освежиться, а может быть, и пройтись пешком... Ресторан был огорожен забором из железных прутьев, и сверху прутья были заострены. Утром страшную картину увидели жители Кутаиси – на одном из прутьев была насажена отрезанная голова, и в этой голове с ужасом узнавали голову Павлова друга...

Павел сам позвонил в Тбилиси и сказал, что он убил человека, своего лучшего друга. В Тбилиси посмеялись, решив, что он или шутит, или перепил; а Павел ждал; он не пытался оправдаться, не прятался – он просто ждал, когда за ним придут; из самого Тбилиси приехали, чтобы арестовать его; но под арестом Павел пробыл недолго; сам Сталин помиловал его; видимо, Сталин понимал, что такое месть и за что можно, а может быть, и нужно мстить...

Зина во время всех этих событий была в Орджоникидзе; она отвезла Римму и почти месяц прогостила у матери, у Марфы Даниловны. Когда Зина вернулась в

Кутаиси, Павел был уже на свободе, и Соня жила уже в его новом доме. И каждое утро жена Павла подходила к забору, разделявшему двор, вставала у калитки и протяжным голосом звала: «Соня... Соня!» – в руках она держала горячие лепешки, кувшин с парным молоком...

Зина скоро должна родить, и она снова собирается поехать к матери; в этот раз она едет в Орджоникидзе поездом; два раза Зина ездила по военно-грузинской дороге, но теперь она не хочет рисковать. Возле общежития ждет машина, ждет Алексей, когда Зина уложит последние вещи; и вдруг Павел пришел к ним. В руках он держал плоский пакет, тщательно упакованный. «Что это?» – спросила Зина. «Подарок! – сказал Павел. – Передашь своей маме! Теще твоей подарок!» Зина взяла в руки пакет – пакет был довольно тяжелый, понюхала его – ничем не пахло. «Ишь как упаковали!» – подумала Зина. А в Кутаиси в это время шла заготовка лаврового листа, и лавровый лист нельзя было вывозить, нельзя было продавать – это расценивалось как спекуляция, а за спекуляцию карали очень строго, а в поездах проверки... Зина посмотрела на Алексея – она уже догадалась, что в пакете лавровый лист, но Алексей никак не отреагировал на ее взгляд...

Алексей повез Зину на вокзал, занес ее вещи в вагон; он сам положил пакет на верхнюю полку, чтобы Зина не натруждалась; Зина пристраивала свои сумки, свой неизменный саквояжик, а Алексей стоял и ждал; первый раз в жизни он испытывал щемящее чувство расставания, хотя Зина уже два раза ездила к матери в Орджоникидзе; но тогда она уезжала просто погостить, привезти Римму, потом отвезти Римму, а сейчас она уезжала, чтобы родить ребенка и чтобы Марфа Даниловна помогла ей первое время, и Алексею казалось, что она уезжает очень-очень надолго; Алексей смотрел на Зину, и душу его переполняла даже не любовь – за почти три года, которые они с Зиной прожили вместе, его душа срослась с ней; он так ясно ощутил, что только с Зиной его жизнь наполнена смыслом, что сам удивился себе; пусть какой-то Васька Жура, пусть хоть кто или хоть что – но Зину он никому не отдаст... Алексей никогда не проявлял нежностей, не говорил Зине, что любит ее, но сейчас какое-то новое, пронзительное чувство и любви, и благодарности, и счастья, и тревожной радости, и гордости – у него родится сын! – рвалось наружу; он чувствовал, что не отпустит Зину, если что-то не скажет ей, что-то важное; это «что-то важное» жгло его. «Зина! – глухо сказал он. Зина подняла голову от своих сумок и посмотрела на него; по его голосу, по его глазам, по его взволнованному лицу она поняла все, что кипело в нем, и он понял это; ему стало неловко. – Зина! – повторил он уже другим голосом. – Смотри, чтоб берегла себя... ты смотри там, осторожнее... и Марфа Даниловна сразу же пусть сообщит... ты слышишь?» – он замялся, чувствуя, что говорит не то, и замолчал, недовольный на себя... «Слышу!» – сказала Зина; она прекрасно все поняла; и еще она поняла, что ее держит с Алексеем его любовь к ней...

Последний вагон уже скрылся из вида, а Алексей все стоял на перроне и смотрел вслед поезду; разошлись все провожающие, а он все стоял; и вдруг он почувствовал острую боль где-то внутри, почувствовал, что задыхается... он испугался, что упадет сейчас прямо здесь, на перроне; но боль быстро прошла, остался страх, который медленно таял, принося облегчение. «Переночую сегодня на стройке, – подумал он, – зачем ехать домой... что делать дома одному...» Он представил себе их комнату без Зины, и ему стало до невозможности одиноко...

Куда-то надо было деть себя, избавиться от одиночества. «Поехали, – сказал он шоферу, – давай на стройку...»

А в поезде началась проверка; проверяли документы, проверяли, кто что везет, нет ли чего запрещенного; у Зины душа ушла в пятки; она отодвинула пакет с лавровым листом подальше к стене, пакет был плоский, и может, его не заметят... «Это что? – спросил проверяющий, показывая пальцем на пакет. – Это чье?» «Мое!» – твердо сказала Зина, а сама чувствовала, что сердце у нее вот-вот остановится. «Что в нем?» – «А распори да посмотри! Дать ножницы?» – и Зина решительно, хотя и неловко, с трудом – мешал живот, – наклонилась к сумке. «Не надо!» – махнул рукой проверяющий и прошел дальше; а Зина еще долго не могла унять бьющееся сердце. «Вот как Алексей мог такое допустить! – думала она. – А если бы распорили да проверили! Тюрьма!»

Марфа Даниловна встречала Зину на вокзале. По всей железной дороге тогда работали одни азербайджанцы, и когда Зина выходила из вагона, азербайджанец-железнодорожник грубо схватился за пакет, который Зина держала в руках. «А это что у тебя?» – с сильным акцентом сказал он. Но Марфа Даниловна не растерялась, вырвала пакет из рук азербайджанца и сказала: «Это зять мне подарок передал! Понятно? Чего хватаешь!» И Зину во второй раз пронесло...

Через неделю Зина родила сына. Марфа Даниловна не отходила от окна больницы; все резало ей сердце – стоило какой-нибудь роженице застонать или крикнуть, ей казалось, это – Зина, это мучается ее Зина; она пугалась еще больше, если вдруг становилось тихо – что, что случилось, что с Зиной... кроме Зины, для нее не существовало сейчас никого – ни Риммы, ни Гены... если бы она могла облегчить боль, облегчить страдания своей дочери; если б у Марфы Даниловны сейчас спросили – отрежем вам руку, и Зина легко родит – она и не задумалась бы ни на секунду; что рука, когда сердце ее рвется от страха за Зину; родив шестерых детей, Марфа Даниловна не помнила, чтобы мучилась и страдала так, как мучается теперь за Зину... Пока Марфа Даниловна терзалась за окном, Зина в это время уже родила мальчика; акушерка спросила: «Рубашечку отдать тебе?» Зина не поняла толком ни что сказала акушерка, ни правильно ли она расслышала; на всякий случай она ответила: «Да я ему столько нашила рубашечек...» – и махнула рукой; только много позже она узнала, что хотела сказать акушерка, – мальчик родился «в рубашке», и рубашку эту некоторые матери забирали и хранили у себя всю жизнь... Через много-много лет вспомнит Зина эту рубашку и пожалеет, что не взяла ее...

Зина хотела назвать сына Виктором; и Алексею это имя нравилось; но маленькая Римма, хотя ей уже семь лет, не выговаривает букву «р». «Давайте назовем его Геной, – капризно просит она, – пусть он будет Геной...» «Но у нас же уже есть Гена, – кивает Зина на братишку, которому недавно исполнилось шестнадцать лет, – и что – два Гены у нас будет?» «Ну и что... – капризно тянет Римма, – пусть будет два, он – Гена большой... а он – Гена маленький...» «Гена маленький, – Гена встал, подошел к кровати и склонился над крохотным племянником, похожим на туго спеленатую куклу; племянник так безмятежно посапывал, прикрыв свои большие глазки, – и правда – Гена маленький...» – сказал Гена большой – ему очень хочется, чтобы племянника назвали, как его...

Зина вернулась в Кутаиси через три недели после рождения маленького Гены; Марфа Даниловна не хотела ее отпускать. «Зина, да куда ж ты торопишься? Да побудь же ты еще... Ты еще и не окрепла как следует! И Алексей не против! Ну что ж ты торопишься!» А Зина хотела домой; ей хотелось остаться наедине со своим маленьким сыном, только он и она; смотреть и смотреть на него, целовать его маленькие ручки и ножки, каждый пальчик – и чтобы ничей посторонний глаз не видел этого, даже глаза родной матери; Зина представляла себе – Алексей утром уедет на работу, а она будет пеленать, кормить, гулять, будет купать – все сама, и Зина чувствовала, что справится; маленький сын заполнил всю ее душу, всю ее жизнь; она уже не задумывалась, как раньше, как она относится к Алексею – любит его, или просто уважает, или просто привыкла; для нее не существовало теперь никакой любви, никакой Васька Жура не существовал теперь для нее; что Васька Жура? Ну вспоминала она его иногда, ну хранит его фотографии... но живет же она без него, и душа у нее, оказывается, и не болела никогда по Ваське; она, оказывается, и не знала, что любовь – это мать и ее ребенок, и никакое другое чувство, никакая другая любовь и близко не сравнится с этой любовью матери к ребенку... Зина иногда специально вызывала в себе воспоминания о Ваське – и как раньше у нее грустно и светло замирало сердце; а теперь – эти воспоминания не только не трогали ее, а казались ей настолько мелкими, настолько раздутыми, просто ненужными – мир как стоял без Васьки Журы, так и стоит; а вот без ее маленького Гены – целый мир теряет смысл, целый мир рухнет без ее маленького Гены...

Дома Зину ждали подарки – пленные немцы сделали для маленького Гены складной стульчик со столиком и еще стульчик с отверстием для горшка, смастерили игрушку – на деревянном круге курица с цыплятами, тоже вырезанные из дерева, и если снизу подергать за ниточки, курочка и цыплятки начинают клевать... Строительство завода подходит к концу, и Алексей говорит Зине, что его хотят перевести в Кишинев – там надо устанавливать и укреплять советскую власть, бороться с эксплуататорами чужого труда... совсем как когда-то отец Зины.

Старшие братья, Саша с Гришей, ушли в лес за грибами – лес рядом с домом; мать печет хлеб; хлеб Марфа Даниловна печет тайно – кругом голод; вынув хлеб, она на еще теплую печь раскладывает картофельные очистки – если вдруг кто зайдет, то увидит, что и она сушит картофельную кожуру, что и она голодает, как все... Зина вдруг увидела в окно – какой-то мужчина, молодой, в длинном черном плаще – а на дворе лето, – остановился неподалеку и смотрит в их окно; «Девочка, подойди сюда, – позвал он Зину, – подойди, не бойся...» Зина побежала к матери: «Мама, там дяденька какой-то зовет...» Марфа Даниловна подошла к открытой двери, спросила грубо: «Что надо? Чего крутишься здесь? Чего девчонку зазываешь?» – человек показался ей подозрительным; в это время Саша с Гришей вышли из леса с полными лукошками грибов; увидев чужого человека возле дома, они в нерешительности остановились; мужчина в плаще спросил: «А вон ружье висит у вас на стене, а кто-нибудь стреляет из него?» «А вот я сейчас как пальну, так черти у тебя из глаз посыпятся; узнаешь, умею стрелять или нет...» – и Марфа Даниловна потянулась за ружьем. Человек мгновенно исчез; Саша с Гришей, растопырив руки с полными корзинками, торопясь и путаясь, роняя грибы, обгоняя друг друга, побежали к дому... Марфа Даниловна еле дождалась

мужа: «Ты там с людьми рассиживаешься, разговоры у тебя, а мы тут... человек вон кружил под окнами, Зинку зазывал, про ружье спрашивал – умею я стрелять или нет; я сказала – сейчас как пальну, так черти у тебя из ушей посыпятся... плащ на нем длинный, это летом-то! не иначе обрез под плащом; ох, Гриша! Боюсь я, за детей боюсь, за тебя боюсь, Гриша! ты хоть не засиживайся с людьми допоздна...» Каждый вечер возле широкого ручья, через который был перекинут мостик, местные жители ждали Григория Николаевича – машина довозила его до этого мостика – и начинали бесконечные расспросы, про советскую власть, да что она такое, эта советская власть, да какая будет жизнь при советской власти, и когда она будет, эта жизнь... Люди тянулись к Григорию Николаевичу, и нельзя было, не мог он обмануть их доверие. А на окна поставили железные решетки, наказали – к окнам по вечерам и близко не подходить; двери на ночь запирались крепко, обе двери – и в сених, и в доме... А через несколько дней Зина проснулась среди ночи; ей почудилось – кто-то ходит наверху, на чердаке; Зина замерла от страха, прислушалась, и снова ей померещились осторожные шаги... ходит, ходит кто-то наверху... Зина не выдержала, бросилась к отцу с матерью, забилась посередине них. «Мама, мама... – шептала она, осторожно дрожащими руками теребя мать, – мама, кто-то ходит там, на чердаке...» Марфа Даниловна приподняла спросонья голову, уперлась локтем о подушку, ничего не услышала. «Да нет, тебе показалось... спи, спи...» – и она погладила ладонью вспотевший лоб Зины. «Ходит, мама, ходит...» – дрожала Зина из-под одеяла; она еще теснее прижалась к матери, и так и лежала, пока не уснула. А утром обнаружилось – воры ночью залезли в дом; замок в сенях сумели отомкнуть, по лестнице, которая все время стояла у стены, взобрались на чердак и выгребли все азатки, которые хранились на чердаке, – рассыпанный след пшеничных отходов тянулся через сени, через весь двор; унесли и поросенка, которого на ночь заносили в отгороженный в сенях угол; азатками Марфа Даниловна кормила кур и того же поросенка...

Маленькому Гене было три месяца, когда Алексея перевели в Кишинев, и начался новый, кишиневский этап жизни... короткое счастье было в этой жизни, и было столько лишений, что только с войной и можно сравнить, с войной, которая осталась за плечами, – о войне Зина почти и не вспоминала, не до того ей было; это потом, потом, через очень много лет всё заново и заново будет переживать она военные годы, будет просить Бога избавить ее от этих переживаний, и будет всё вспоминать и вспоминать...

